

Федор Чешко



Между степью
и небом

Сказанья о были и небыли

Федор Чешко

Между степью и небом

«Снежный Ком»

2012

Чешко Ф. Ф.

Между степью и небом / Ф. Ф. Чешко — «Снежный Ком»,
2012 — (Сказанья о были и небыли)

ISBN 978-5-904919-53-5

Лейтенанта РККА Михаила Мечникова с малых лет преследовали навязчивые сны, таинственные видения, необъяснимые события и предзнаменования. В разгар мировой войны ему предстоит больше узнать о природе этих явлений, а заодно разобраться в себе самом и в истинном смысле разгоревшегося кровавого противостояния. История, главным действующим лицом которой невольно оказался он, Михаил, уходит корнями в глубокую древность, предоставляя взгляду наблюдателя множество хитросплетённых ветвей. Эта игра настолько же затейлива, насколько и жестока. Единственное, что лейтенант знает точно - это то, что поражение в игре куда страшнее смерти.

ISBN 978-5-904919-53-5

© Чешко Ф. Ф., 2012
© Снежный Ком, 2012

Содержание

1	6
2	20
3	38
4	52
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Федор Чешко
Между степью и небом

Светлой памяти моего отца и наставника

1

Всё-таки она еще пыталась бороться за жизнь, эта сосна. В тревожимой ветром желтизне усыхающей хвои из последних сил барахтались остатки зелени; многочисленные раны несчастного дерева зарубцевались толстыми наплывами отверделой живицы; измочаленные культы ветвей, казалось, свело судорогой отчаяния в попытке вернуть равновесие нелепо накренившемуся стволу...

Михаил бездумно провел ладонью по ржавой коре, и вдруг отдернул руку – резко, поспешно, с какой-то полусознанной смесью гадливости и опаски. Вот ведь странно... Да, прикосновение к липкому стылому покрову древесного полутрупа слишком ярко напомнило другие прикосновения – к осклизлой и окоченелой человеческой плоти. Ну и что? За последние месяцы художник-недоучка успел напрочь отвыкнуть от страха перед мертвецами. Почему же теперь это умирающее дерево?..

А дерево умирало-таки. Мучительно, трудно. Долго. Тем, кто пару месяцев назад обустроил возле него позицию для “максима” – им повезло больше. Для них всё окончилось быстро и без особых мучений: снаряд угодил точнее точного.

Воображение с подленькой суетливой услужливостью нарисовало, как это могло быть. Артналёт; дно окопа ходуном ходит от близких и дальних разрывов, словно бы норовя вывернуться из-под отчаянно притискивающихся к нему тел; вжатые в песок губы шепчут немо да истово: “Ну пусть же мимо, пусть не меня, не меня!..”; а откуда-то с западного берега уже летит тот самый, неслышимый, который не мимо, который выточен да натрамбован смертью персонально для...

И всё.

Воронка, изувеченная сосна... Успевшие подернуться ржавым налетом обломки пулемёта... Кто сказал, будто каждый человек – это вселенная? Замаранные сохлой буростью тряпки; расколота каска, зацепившаяся за сук метрах в трех над землей... Всё, что осталось от двух вселенных. От двух ли? Э-хе-хе, даже этого теперь не понять.

– Товарищ лейтенант, слышите? Да товарищ лейтенант же! – сиплый яростный шепот рядом – внизу и чуть позади. И крепкий тычок в бедро (не то кулаком, не то даже прикладом). – Очумели вы, что ли? Да лягте же, лягте! Немцы!

Да, конечно. Немцы.

Идиотски несвоевременную философию выдуло из головы Михаила, и он как-то вдруг, толчком осознал себя стоящим на коленях – ни дать, ни взять богомолец перед иконой... Богомолец. В форме командира РККА. На самой опушке корчеваного артогнём полупрозрачного леса, на самом виду. Кретин безмозглый...

Михаил шатнулся к бывшему пулемётному гнезду, съехал в него, с вовсе излишней силой оттолкнувшись от сосны, недоподрубленной давним взрывом. Калечное дерево мотнуло вершиной и так пронзительно заскрипело, что буквально влипший в песок красноармеец Голубев выматерился – тоже с вовсе излишней силой, не шепотом то есть.

Что ж, Голубеву, может, и простительно. Он-то, небось, в отличие от тебя военное училище не заканчивал... А в общем, из обоих вас разведчики, как из вот того самого пуля.

Но дураками быть хорошо: дуракам везёт. Немцы умудрились ничего не заметить.

Галдя да похохатывая, они вывалились из лесу метрах в пятидесяти ниже по течению и бегом кинулись к воде – взбрыкивая, на ходу срывая с себя куцы серо-зеленые мундирчики... Ну прямо тебе расшалившаяся деревенская пацанва. Беззаботная пацанва. Оружие расшвыряли как попало, и никого рядом с ним... А, нет, одного всё-таки оставили на берегу. Правда, этот оставленный больше паялится на своих резвящихся в реке сотоварищей, чем следит за их бараклом. Господи, до чего же они беспечные, наглые, неоглядчивые... Как же, блиц-

кригеры-победители... С-суки... И здоровые, сволочи – как-никак конец сентября, вода уже холоднющая, а им хоть бы хны. Ишь, плещутся! Да ражие все такие, широкоплечие, мускулистые обильно и рельефно – как наглядные пособия по анатомии человека. Физкультурники, мать их перемать... Атлеты... Суки.

– Товарищ лейтенант, их всего шестеро, – это Голубев подполз вплотную, щекочет ухо торопливой чуть слышной скороговоркой. – Давайте их это... А? А того, на берегу – в плен... А?

Михаил досадливо отмахнулся. Можно бы, конечно, и “это”, и “в плен”. Правда, наличного оружия – наган с тремя патронами, Голубевская СВТ да граната-лимонка, но на шестерых, поди, и этого хватит. А дальше? Даже если удастся после такой заварушки унести ноги – а дальше? Стоит ли ради нескольких гансов нарушать приказ? Поднимать шум, обнаруживать себя... И ведь не только одних себя, а в конечном счете и весь отряд... то есть полк...

Где-то неподалёку вдруг часто и звонко заколотили металлом о металл; мигом позже в лесу сиплю взревел мотор, потом еще один, и еще...

– Вот тебе и всего шестеро, – выдохнул Михаил. – Кажется, мы с тобой в самый гадючник влипли.

– Так выбираться надо, – боевой пыл Голубева резко пошел на убыль.

– Отставить! – Михаил мельком глянул в предзакатное небо. – До сумерек лежим тут. А потом... – он перевёл взгляд туда, где над древесными вершинами дыбилась черным трафаретом полуразрушенная колокольня – примета недалекого городка.

* * *

На закате из лесу выполз туман. Прозрачные седые космы никли к земле, плотно обтекая древесные корневища; тяжеловесно и нехотя змеились по малотравью прибрежной пустоши... Разве правильно, чтобы туман не рекою рождался, а оплывал к ней с хоть и пологого, но всё же заметно приподнимающегося над водой берега?

Неправильно.

А только вся та ночь была совершенно неправильной.

С вечера небо, будто мхом, заросло плотными кудлатыми тучами – закатный багрянец впутался в ненастную бурость воспаленным оттенком гнилой запущенной раны, да так и прижился, хоть солнце давно уже сгнуло и закату полагалось бы убираться следом. Затянувшая небо гниль бесшумно сеяла мельчайшую дождевую пудру, но туман не собирался истаивать под этой нудной постылой моросью... А разве это правильно – туман при дожде? И разве правильно, чтобы такая ночь была светлой? А она именно была светлой, эта придурковатая ночь. Очень светлой. Казалось, будто бы всё – туман, влажные древесные стволы, пропитанный влагой воздух – всё исходит белесым призрачным светом.

– Это ещё пустяки! – испуганно озираясь, шептал Голубев. – В Ленинграде белыми ночами вообще как днём...

Белые ночи... Выходит, такое и под Новгородом бывает? Но ведь предыдущие ночи вроде бы казались совершенно обычными... Или не казались? И не поздновато ли нынче для белых ночей? Господи, какая чушь! Бывает, не казались, не поздновато! Потому что вот это, которое вокруг – что же это, как не натуральнейшая белая ночь?!

Немцев в лесу оказалось не так уж много – во всяком случае гораздо меньше, чем примерещилось Михаилу с вечера. МТС, о которой рассказывал встреченный позавчера лесник, гансы действительно приспособили подо что-то вроде ремонтных мастерских – отсюда и неслись моторный рёв да железное лязганье. Причём с наступлением ночи работа за мощным кирпичным забором не прекратилась, и это радовало: изрядно, значит, у гитлеровцев повреждённой техники, раз им приходится проявлять этакий трудовой героизм.

Неподалёку от МТС обнаружилась зенитная батарея, а дальше до самой околицы Чернохолмья лес будто вымер. Не то, что немчуры – даже комаров не было. Голубев этому откровенно радовался; Михаила же поглаживали дурные предчувствия. Слишком уж беспечно вели себя гансы. Ремонтные мастерские, кажется, вообще не охранялись, а батарея... Один часовой там всё-таки имелся – бродил вокруг пушек, спотыкаясь и громко, аппетитно зевая. Такая охрана намного хуже, чем вообще никакой. А ведь линия фронта не так уж далека: канонада слышится весьма явственно; по временам от особо гулких загоризонтных ударов ощутимо вздрагивает земля... Да и отряд... то есть извините, товарищ старший политрук – шестьдесят третий отдельный полк наделал достаточно шума вдоль маршрута своего продвижения (три дня назад при форсировании, например); так что противник, если он не дурак, должен бы насторожиться по всей округе... Ан нет же, не насторожился противник. Это возможно?

Между опушкой и городскими задами пучился к плесневелому небу округлый, поросший редковатым кустарником холм. Михаил с Голубевым взобрались на его вершину, залегли близ какого-то обомшелого валуна, похожего на гнилой проеденный зуб, и довольно долго наблюдали за рекой и околицей.

Околица клубилась темным беспроглядьем садов, горбатилась редкими силуэтами крыш. Тихой была она, околица; спокойной и сонной. Только изредка нехотя взлаивали дворовые собаки, да однажды ни с того, ни с сего по-дурному возопил где-то петух – возопил и смолк на полуноте, словно бы ему клюв заткнули... или (что вероятней) свернули шею.

Потом из ближней улочки выбрали двое немцев с тускло отблескивающими бляхами фельджандармов на шеях – очевидно, патруль. Они немного постояли над самой водой, тихонько переговариваясь и время от времени взглядывая на холм (словно раздумывали, лезть на него, или не стоит). Голубев оживился, снова зашептал что-то про языка, но Михаил досадливо приказал замолчать: ему хотелось расслышать, о чем говорят патрульные. Однако покамест ничего толкового расслышать не удавалось: слова немцев превращал в совершенную невнятицу ровный и неумолчный гул моторов. Примерно в полукилометре к северу матовое стекло реки перечеркивала цепочка смутных голубых огоньков, вдоль которой непрерывным потоком ползли с западного берега на восточный одинаковые черные тени.

Понтонный мост.

Интенсивное движение в направлении линии фронта – так описал бы увиденное исполняющий обязанности командира шестьдесят третьего отдельного старший политрук Зураб Ниношвили. И мы ему так же опишем... если сумеем вернуться целыми.

Один из патрульных чуть повысил голос, и Михаилу, наконец, удалось разобрать несколько малопонятных обрывков. "...эсэс-команда... вчера... от них лучше подальше..." На том всё и кончилось. Второй немец (щуплый сутуловатый очкарик) постучал себя по пилотке – красноречивый интернациональный жест – и, отвернувшись, шагнул обратно, в уличное тёмное устье. Ляпнувший что-то глупое (или опрометчивое?) ганс двинулся следом.

– Голубев, ты знаешь, что такое?... – Михаил обернулся к своему напарнику, и вдруг осекся.

Голубев, оказывается, не смотрел ни на немецких патрульных, ни на реку. Приподнявшись, Голубев тревожно вглядывался в лесную опушку.

– Ты чего? – Михаил дернул его за рукав.

– Да так... – красноармеец знобко повел плечами. – Примерещилось, будто бы смотрит кто-то. На нас. Сзади. Оглянулся, а там... Вроде как... это... тень, что ли? И вроде глаза блеснули. Это правда, что волки только зимой страшные?

Михаил тоже оглянулся.

Опушка. Ленивые туманные космы. И ничего кроме.

Он хотел было сказать что-нибудь про нервы, но не успел. Потому что совсем-совсем рядом неторопливо проклацал винтовочный затвор, и сорванный голос выговорил тихонько:

– Нихт бевеген. Зонст их верде эссен... то есть шиссен.

* * *

Примерно в километре от опушки лес словно бы провалился в довольно широкую то ли ложину, то ли пересохшую старицу, густо заросшую боярышником да хлипкой кустоподобной рябиной. Сочтя это место подходящим для выяснения отношений, Михаил решительно остановился. Голубев встал рядом, нарочито поигрывая своей СВТ, к которой он для внушительности прикинул штык.

Черт знает откуда взявшейся нелепой троице хватило благоразумия не пытаться разоружить своих пленных. Единственно, на что эта самая троица решилась – всю дорогу от прибрежного холма держать обшарпанные винтовки наперевес, изображая грозных конвоиров.

Никто из всех пятерых дорбгой не произнёс ни единого слова – исключая, конечно, энергичную короткую матерщину, которой Голубев еще там, на холме, прояснил неведомой троице свою национальную принадлежность.

Троица... Почти одинаково испуганные почти детские лица; почти одинаковая одежда (кепки, ватники, кирзачи – всей разницы, что на двоих индивидуумах штаны, а на третьем изрядно замызганная длинная юбка)...

– Н-ну... – протянул наконец Михаил (индивидуумы вздрогнули, прижались друг к дружке – смех, да и только!) – Ну, и кто же вы такие будете?

Молчат. Тискают свои трехлинейки и молчат. Черт, только бы не пальнули сперепугу!

Сообразив, что опаску юных вояк нужно перешибить каким-то более сильным чувством, Михаил осведомился ехидно:

– Девочка, а у тебя в школе по немецкому что – твердый неуд? “Ни с места, иначе съем!” – передразнил он.

По крайней мере один из винтовочных стволов опустил.

– Я же сама поправились! – вознегодовал индивидуум в юбке (гораздо громче, чем следовало бы).

Михаил хмыкнул и переменил тон:

– Тебя как зовут-то?

– Маш... Мария Сергеевна. Его... – кивок на ближайшего индивидуума в штанах, – его Павлом. А вот это Сергей...

– Так он твой отец, что ли?

На бледных физиономиях проступили улыбки, а юнец, заподозренный в отцовстве, издал протяжное “гы-ы-ы!”

– Значит, Мария Сергеевна, Павел и Сергей... Уже что-то. Ну, а кто же вы, всё-таки?

– А вы сами-то кто? – снова насупилась девица. – Почём мне знать, может вы переодетые... как их... пособники?

Михаил прикусил губу. Преппирательства затягиваются, время транжирится безо всякой пользы... Ночь на сломе, а до рассвета еще нужно одолеть неблизкий обратный путь. Похоже, выполнить поставленную задачу – разведать подступы к понтонному мосту – не успевадается... Что же делать?

– Ну, ладно, – решил он. – Ребята, вы вообще местные?

– А если да – что с того? – осторожно выговорила Мария Сергеевна (в этой троице верховодила явно она).

– Да ничего. Просто вам нужно пойти с нами, – Михаил придал своему полусшепотку оттенок торжественности, – в распоряжение регулярной части Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Пойти и рассказать нашему командиру о силах немцев в здешних окрестностях. Понятно?

Услыхав про регулярную часть, парни заметно оживились (Сергей даже вскрикнул: “Что, фронт аж так близко?! Наши уже наступают, да?!”). Но их курносая верховода помалкивала, кривилась недоверчиво.

Черт знает, сколько бы еще длилась пустопорожняя (а с учетом обстоятельств и просто опасная) болтовня, если бы не Голубев. Верней, если бы не его талант по части провокаций. Да и не ахти какая разница в возрасте между странными юнцами и бравым красноармейцем, наверное, тоже помогла упомянутому красноармейцу найти единственный безотказный довод: “на слабб”.

– Дрейфите?! – насмешливо спросил Голубев. – Зря. Если б мы собирались вас обижать, так уже б давно... это...

Подействовало. Даже договаривать не пришлось.

* * *

Возвращались прежним маршрутом.

На МТС теперь было тихо – решили-таки мастеровитые гансы маленько перекемарить... или просто выполнили какую-то там свою гансовскую суточную норму.

А часовой около зенитной батареи по-прежнему был один. Только он уже не бродил вокруг рощи задранных к отсырелому небу тонких орудийных стволов. Он спал. Уселся то ли на пенек, то ли на камушек посреди изрядной, совершенно открытой пустошки; карабин пристроил торчком меж коленями; голову свесил... И давил себе храповицкого, всю пренебрегая соблюдением звуковой маскировки.

Пустошка, превращенная горе-часовым в спальню, прорезала лес длинным языком меж батареей и МТСовским забором, дотягиваясь до самого берега. Обходить открытое место, как делали это с вечера, теперь не хотелось: долго, а времени и без того уже перепорчено сверх всякой меры. Да и наглое разгильдяйство гансов, явно воображающих себя в совершенной безопасности, так и подбивало на какую-нибудь не менее наглую выходку.

Минут пять лежали в кустах, наблюдая за батареей и за похожей на крепостную стену оградой машинно-тракторной станции.

Было тихо.

Было настолько тихо, что сопливая команда Марии Сергеевны с каждым мигом всё ощущаемее забывала об осторожности. Да и Голубев... Он словно бы заразился от этих сопляков дурной сопляческой неосмотрительностью – затеял какие-то перешептывания с пацанами, потом и пацанская командирша придвинулась к ним, встряла...

– Ладно, – Михаил с трудом подавил раздражение. – Открытое место форсируем по одному. Бегом, пригнувшись. Голубев первый, за ним на счет “десять” – Маша, потом – Сергей, потом – ты... Направление – отдельностоящая наклонная сосна. Поняли?

– Так точно! – браво ответил Голубев. Ответил и снова зашептал что-то.

– Первый, пошел!

Голубев пересек пустошку благополучно. А вот следующие...

По не слишком-то чёткой команде: “Второй... то есть вторая, ч-чёрт!” кинулась бежать не одна только соплячка. Они кинулись все. Втроем. И не к сосне – к часовому. Тот так и не успел продрать глаза. Мелькнул на фоне туч приклад трехлинейки; надсадное хеканье слилось с тупым ударом оружейного дерева о людской затылок, и молокососы, топоча да сопя, поволокли бесчувственного (это в лучшем для него случае) ганса в лес.

Михаил впился зубами в собственное запястье, чтоб не застонать, не выматериться на весь лес. Голубев, сука! Таки нагадил, выслужился-таки, подонок! Да не сам, дерьмо трусливое – детишек науськал! “Товарищ старший политрук, лейтенант по глупости... это... я еле-еле спасся...” Надолго ли спасся бы, гнида?! Ведь всех же, весь отряд!... И политрука своего люб...

Шевельнулось что-то, хрустнуло там, среди черных кустов, топящих в себе станины зениток? Нет, пока всё тихо. Так что – не расслышали? Спят?

Выждав еще минуту-другую, Михаил скользнул по направлению к наклонной отдельно стоящей. Хотя смысла особо осторожничать уже, наверное, не было. И втапывать Голубева в землю тоже не было смысла (хоть и весьма бы желалось). Втоптать-то можно, но вот исправить сотворённую этим гадом дурацкую гнусность – шиш.

А гансы, кажется, сделали-таки невозможное: ухитрились прохлопать неуклюжий, шумный захват “языка”. Только нынешняя тишина на их батарее – это всего-лишь отсрочка: не могут же зенитчики вообще никогда не хватиться пропавшего часового! Не могут... И еще вот чего немцы не могут: никак, ну никак не могут они впрямь быть аж настолько беспечны. Значит...

Уже ныряя в подлесок, Михаил краем глаза приметил метнувшуюся за деревья четвероногую тень – не то крупная собака, не то впрямь волк... Животное, а животное, откуси чего-нибудь красноармейцу Голубеву! Ну пожалуйста, что тебе стоит?

* * *

Голова болела невыносимо.

Еще пару мгновений назад Михаилу казалось, что самая изощренная пытка на свете – необходимость говорить, когда каждый произносимый слог раскаленным тараном взламывает лоб изнутри. А теперь выяснилось, что молчание гораздо мучительней. Голову затопила звонкая пустота, и в пустоте этой по-прежнему раскачивался ненавистный пышущий жаром таран – он лишь зачастил, подладившись к истерическим судорогам пульса.

Пытка молчанием затягивалась. Выслушав рапорт о результатах разведки (только факты, без “лирики”, как и было приказано), комполка размышлял. А Михаил старался не упасть в обморок и отчаянно боролся с искушением тронуть мокреющую повязку на лбу – боролся, дабы Ниношвили не вообразил, что бывший приятель “бьёт на жалость”.

А голова болела, болела невыносимо. И в этой боли опять-таки был виноват сука Голубев. Ну, не прямо, а косвенно – какая разница?

...Захваченный немец оказался сущим обломом: ростом метра под два, с сажеными плечами и каменными бицепсами. Удар прикладом, конечно же, его не убил (следовало, наверное, радоваться, что от этого самого удара не поломалась винтовка); да, “язык” остался живехонек, однако же чувств лишился основательно и надолго. Сопливая тройца и Голубев сперва несли его, ухватив за руки-ноги (обливаясь потом, ежиги минутно роняя всякую всячину и отчаянно стараясь кряхтеть потише); затем – отойдя от немецких объектов на более ли менее безопасное расстояние – они решили было тащить свою добычу волоком, но получилось еще хуже: громадные ступни обморочного ганса словно бы нарочно цеплялись за что ни попадя.

В конце концов Михаил приказал носильщикам отдохнуть минуты три-четыре, а потом связать “языку” руки и привести его в чувство:

– Дальше пускай сам топает. Не выбрасывать же...

Связать немца не удалось. Как только его опустили в пропитанную сыростью скудную лесную траву, “язык” внезапным мощным рывком вскинулся на ноги. Подростков расшвыряло, как взрывом; секундой позже, вскрикнув, покатился по земле Голубев, а немец с Голубевской винтовкой в руках бросился на Михаила.

Художник-недоучка и кадровый лейтенант не успел даже вспомнить о висящей на поясе кобуре. Единственно, что он успел – это шатнуться назад, но тусклый кинжалоподобный штык СВТ догнал его, тяжело клюнул в лоб... Мир перед глазами полыхнул многоцветным радостным фейерверком, однако Михаил каким-то чудом сумел-таки устоять, а устояв, пнуть сапогом почти растворившуюся в радужном мельканьи фигуру, а пнув, еще и попасть туда, куда метил.

Потом он сидел на холодном, мокром; девочка Маша бинтовала ему голову содержимым невесты откуда взявшегося индивидуального пакета; парнишки и Голубев, надсадно дыша, вязали немца, а тот дергался, пытаясь стряхнуть навалившихся вязальщиков, и мычал неразборчиво – рот его был плотно законопачен Машиной кепкой.

Вот именно потом, после драки-то, Михаилу очень здорово сообразилось, каким именно приемом или ударом следовало ему управиться с немцем, чтоб ловко, красиво, а главное – без ущерба для себя. Выходит, сопляческих времен драки с безжалостной по недоумкуватости сивотой – наука куда крепче, нежели занятия борьбой да боксом с классными училищными тренерами... Ладно. Все равно спасибо им, тренерам: не за приемы-удары, так хоть за быстроту да реакцию.

А Маша, между прочим, без кепки гляделась куда симпатичнее. И вообще... Потемневшая от моросной влаги рыжая стрижка, перепачканные щеки, распухший шмыгающий нос, льдинки запоздалого страха, мокреющие в синих глазах... Похожа она на кого-то, или уже приходилось встречаться с ней? Ой, не до размышлений-вспоминаний было героическому лейтенанту Рабоче-Крестьянской Красной...

...И всё-таки Михайлово сознание ухитрилось подловить своего хозяина: усыпило бдительность, и вдруг без предупреждения кинулось наутёк.

Вроде бы только что сидел более ли менее прямо, более ли менее сосредоточенно глядя в хмурое командирово лицо, как вдруг – отсырелая плащ-палаточная ткань промозгло липнет к виску, и ты всё крепче наваливаешься на нее, грозя обрушить хлипкое “штабное помещение” (полунавес, полушатёр)...

– Ты что?! – Ниношвили схватил Михаила за плечо, потрянул. – Совсем плохо, да? Белкину звать?

– Не надо.

Михаил вновь утвердился на заменяющем стул сооружении из замызганного ватника и охапки хвороста; потом хотел было нагнуться за свалившейся под ноги фуражкой – не успел. Старший политрук сам подобрал, подал. И вновь повторил:

– Давай санинструктора позову, ну?

– Нет. – Михаил прилаживал фуражку на голове. – Давайте сначала с делами разберемся, товарищ комполка.

Ниношвили хмыкнул с сомнением, но настаивать прекратил. Буркнул что-то вроде: “Темно у нас, как в погребе, слушай!”; откинул полу распыленной на кривых сосновых жердях плащ-палатки; выглянул.

Снаружи было позднее ясное утро. Натужную пульсацию дальней канонады глушило свистение каких-то пичуг, лениво шуршал в древесных верхушках вялый прозрачный ветер, похрустывал всяким лесным мусором часовой, бродивший по краю обширной колдобины, на дне которой притаился КП... Вот и все звуки. И поди догадайся, что находишься посреди днёвочного лагеря полка. Шестьдесят третьего. Отдельного. Общей численностью в семьдесят восемь человек, не считая тяжелораненных.

– Ладно. – Старший политрук хмурился, рассеянно теребил черную ниточку усов. – Оценку твоих действий, выяснение, почему ты не выполнил ни одну из поставленных задач – всё это пока отставим, да. Пока хочу твоё мнение. Выводы хочу. Говори!

Он очень старался не смотреть в глаза Михаилу, и Михаил был ему за это почти благодарен. Каждая их встреча становилась для обоих мучением. Довоенная дружба выветрилась за считанные недели боёв, окружения, прочего; новая линия взаимоотношений выработаться еще не успела... И, по-видимому, не успеет из-за всяких-разных грустных причин.

Михаил попытался сесть прямо и заговорил:

– Мнение и выводы? Слушаюсь. На основании увиденного напрашивается следующее... Немцы проанализировали действия отря... виноват, полка за последние несколько суток, рас-

считали направление нашего движения и подготовили в окрестностях Чернохолмья ловушку. Западно. Полагаю, нас провоцируют на попытку ликвидации ремонтных мастерских, якобы оборудованных в МТС.

– Основания? – с прежней хмуростью осведомился Ниношвили. – И смысл?

– Основания... – механически повторил Михаил, – основания следующие. Первое: группа немцев, наблюдавшаяся нами близ машинно-тракторной станции. Тыловые подразделения обычно комплектуются не самым лучшим воинским материалом, а те гансы были как на племя подобраны. Фельджандарм оговорился, что вчера сюда прибыла команда эс-эс – это у них вроде наших войск НКВД... – он осекся, перехватив яростный взгляд политрука.

– Я знаю, что такое эс-эс. – процедил Ниношвили. – Давайте без лирики, то-ва-рищ лейтенант!

– Слушаюсь. Так вот, в эсэсовцы подбирают по физическим данным. Полагаю, у реки мы видели группу переодетых солдат особого назначения. Таким же физическим данным соответствует захваченный нами “язык”...

– Захваченный вопреки моему приказу, – прокомментировал старший политрук. – Дальше!

– Слушаюсь. Вто...

– Да что ты заладил это: “Слушаюсь, слушаюсь...” – раздраженно перебил Ниношвили, – ты не нижний чин, я не благородие! Докладывай как сознательный командир Красной Армии! Понял, нет?!

– Слу... То есть так точно, понял. Значит, второе: МТС. То, что мне известно про немецкую педантичность, “ордунг” и прочее, наводит на мысль: их мастерские работали бы или только в светлое время суток, или уж круглосуточно. Однако, когда мы возвращались, там было тихо...

Михаил понимал, что его аргументы политруком не воспринимаются, а тренированная наблюдательность художника – это для Зураба вообще не довод. Гудела-разламывалась голова, дико хотелось спать, дико хотелось, чтобы поскорей закончилась бесполезная говорильня, но...

Но.

Нужно было хоть попытаться убедить. Хоть для успокоения совести. Хоть для...

– Полагаю, противник счёл вероятным, что мы собираемся атаковать понтонную переправу, и решил предложить нам более заманчивый объект: плохоохраняемые мастерские, работающие на полную мощность. Для придания им значимости в наших глазах симитировано прикрытие этого объекта зенитной батареей. Полагаю также, что противник засек меня и Голубева на пути продвижения к Чернохолмью и на обратном пути ненавязчиво подсказал нам удобное время для операции: дескать, перед рассветом МТС затихает, часовые спят – приходи да громи... Примечательно, что после захвата “языка”-часового его товарищи (политрука вновь передернуло, но Михаил уже на всё махнул рукой) рыпнулись было – я какой-то шумок слышал – но не вмешались. Предпочли отдать его, но сохранить иллюзию своей беспечности. И уверены, что он при любых условиях будет молчать. Я, кстати, тоже в этом уверен.

– Всё, да? – нетерпеливо перебил Ниношвили.

– Так точно, всё – в общих чертах. – Михаил перевел дыхание, отер ладонью лицо, взмокревшее, словно бы от тяжких трудов.

– Считаю твои соображения бездоказательными! – Ниношвили выбрался из-под импровизированного навеса и заходил взад-вперед по дну штабной колдобины (собственное его вчерашнее выражение), яростно пиная подворачивающиеся на дороге хлыстики облыселых одуванчиков. – Считаю бездоказательными, да! Беспочвенными. И бесперспективными. Что ты вообще предлагаешь? Что конструктивного можно предложить, опираясь на твои домыслы? Говори, ну!

Михаил попытался было подняться всед за командиром, но тот оборвал эту попытку раздраженным взмахом руки. А сидя следить за метаниями старшего политрука оказалось выше Михайловых сил: от попыток вертеть головой в лад корчащему из себя маятник командиру таран во лбу принялся вытворять что-то уж вовсе немыслимое, горло переполнила вязкая горечь, окружающее подернулось тошнотворным маревом...

Михаил сцепил зубы и принялся смотреть прямо перед собой. На зачехленное знамя шестьдесят третьего отдельного. На гигантский лежащий сейф, служивший Зурабу то столом, то диваном – тяжеленный стальной монстр, единственное имущество полкового штаба, которое удалось спасти и которое старший политрук намеревался вынести из окружения любой ценой. Неподъемное страшилище уже стоило жизни двум упряжным лошадям, и черт знает каких усилий оно стоило и еще будет стоить людям – всё это казалось то обидным, то глупым, потому что ни один штабник не уцелел, а сейфовые ключи потерялись. Никто не знал, что за барахло тархтит в бронированных недрах, когда этот сундук стаскивают наземь или громоздят обратно на приспособленный для его перевозки артиллерийский зарядный ящик. Сколько раз санинструктор Белкина докладывала Зурабу, что лошадей нехватает для перевозки раненных? Сколько раз Михаил терял терпение, доказывая, что опасно таскать за собой обременительную бесполезницу? Сколько, сколько... Бессчетно. А толку – шиш. “Сохранить – честь, бросить – позор, да!” – вот и весь ответ.

Такую же непобедимую привязанность когдатошний замполит приданной полку батареи, а ныне и.о. комполка Зураб Ниношвили испытывал к двум уцелевшим 76-миллиметровым “дивизионкам”. Даже после того, как под Волховаткой пушкари расстреляли весь свой необильный боезапас, старший политрук упорно отказывался бросить онемевшие орудия. Именно из-за командирского упрямства недавнее форсирование получилось таким тяжелым и шумным. И таким кровавым. А могло получиться куда тяжелей да кровавей – это если бы не Михаил. Поняв, что рассвет застаёт медлительные неповоротливые плоты с пушками чуть ли не на середине реки, лейтенант до самого нутряного нутра допек Зураба утверждением, будто страх потерять орудия – гнилая отрыжка древней и косной золотопогонщины, когда “их благородия” ставили свою так называемую офицерскую честь и свой престиж выше солдатских жизней. Помогло: Зураб, тихо и злобно выбравшись, прокричал-таки артиллеристам приказ рубить скрепы плотовых бревен.

Именно тем сереньким предрассветьем, глядя, как под траурный салют догорающей на западном берегу перестрелки оседают, проваливаются в ленивую речную муть неуклюжие потрепанные “дивизионки”, Михаил окончательно понял: не то, что дружбе, а и просто более-менее терпимым отношениям с Зурабом настанет конец. И так уже старший политрук частенько намекал... да нет, какие уж тут намеки – он не раз говорил открыто и прямо, что Михаил оценивает обстановку не как командир, а как мягкотелый запаниковавший интеллигент, что переоценка противника есть разновидность пораженческих настроений, что от неверия в близкую победу рукой подать до предательства... А теперь вопреки всему – логике, справедливости, прочему – Ниношвили еще больше укрепитя во всяческих своих прежних подозрениях. И придумает подозрения новые. Всяческие. Разнообразные. Потому, что когдатошнего друга он теперь ненавидит.

Бывший замполит артбатареи стоял в верткой узенькой плоскодонке рядом с Михаилом и тоже смотрел на гибель пушек. Смотрел и плакал. Громко, взхлеб. Не стыдясь.

...Предобморочная тошнота мало-помалу стронулась на убыль. Михаил уже почти вернул себе способность видеть и понимать; он уже довольно-таки четко различал окружающее – например, многочисленные царапины на боку проклятого несгораемого ящика и полуперекрытое грубо намалёванным инвентарным номером клеймо: “Krauze und Sohn, 1937, Hamburg”. Прямо насмешка какая-то...

– ...не понимает, куда ты клонишь, да? Напрасно думаешь, Нонишвили всё понимает! – Оказывается, старший политрук уже стоял совсем рядом, и его обличительные слова гвоздями вколачивались в как бы вдруг откупорившиеся уши Михаила:

– Очень хочу надеяться, что ты это неосознанно, понимаешь? Что это неосознанная трусость. Пока буду надеяться, а ты должен мне доказать, что я всё-таки не ошибся! Очень доказать должен – понял, да?

Михаил с трудом повернул голову и снизу вверх мутно уставился на и.о. комполка. Раненый лейтенант так мучительно сморщился в попытке доскрипеться до смысла услышанного, что Зураб, вздохнув длинно и тяжело, принялся повторять всё сначала:

– Ну, сам вдумайся в каждый из твоих доводов! Ведь сплошные “похоже”, “вроде бы”, “кажется”, ну? Ну?!

– Каждый в отдельности – да, – просипел Михаил. – Но всё совокупно...

– Да что “совокупно”?! Что?! – Ниношвили возобновил своё хождение туда-сюда. – Ты же сам постоянно упрекаешь меня, будто я недооцениваю противника! А теперь?! Думаешь, немцы совсем идиоты – затевать такие хитрые хитрости ради... ради ликвидации малочисленной группы окруженцев?! – Выговорить эти последние слова старшему политруку удалось лишь ценой немалых усилий, но не скажешь же “малочисленный полк”! – А часовой? – продолжал Зураб, всё заметней взвинчивая себя. – При любых условиях будет молчать – надо же! Ты уж до самой последней черты докатился: эсэсовцев равняешь с НКВД, немецкую солдатню товарищами назвал, а теперь уже готов приписать гитлеровцу самопожертвование и стойкость сознательного большевика! Да?!

Михаил скрипнул зубами, но заговорил довольно спокойно – это несмотря на злость и вымучивающую боль:

– Пойми... те, товарищ комполка: немцы не считают нас заурядными окруженцами, пробирающимися к линии фронта! Вспомните хоть Волховатский аэродром! И Узловую тоже... И другое всякое...

...Да уж, Волховатский аэродром... На довоенной карте он был обозначен, как районная база сельскохозяйственной авиации, а на деле немцы успели приспособить его для своих фронтовых бомбардировщиков.

Задуманная старшим политруком несусветная дерзость прошла великолепно. Правда, великолепию этому изрядно помогло удачное стечение разнообразных случайностей – так что ж с того? Кажется, это Наполеон говорил: “Случай всегда на стороне больших батальонов”? Наверное, так и есть – даже если “большие батальоны” не числом велики.

Над лётным полем господствовала высотка, на вершине которой то ли гитлеровцы, то ли наши оборудовали блокгауз и бетонированную траншею – охранный пост, оснащенный прожекторной установкой. Еще с ночи три десятка красноармейцев шестьдесят третьего отдельного (отборная ударная группа) затаились в небольшом, однако густом и малохоженом сорном лесу близ подножья высотки. На рассвете немецкий гарнизончик блокгауза сменился. Через полчаса заступивших на пост гансов вырезали втихую, и ударная группа заняла караульную траншею. Еще через полчаса из-за длинного мыса лесной опушки вывернулись две артиллерийские упряжки. Уже совсем рассвело – от блокгауза отчетливо виделось, как мотаются на колдобинах полевой дороги расчехленные “дивизионки”. Ездовые гнали коней рысью – споро, но без суетливой, привлекающей внимание спешки. Могучей выдержки людьми были эти ездовые. Собственно, почему были? Один из них жив до сих пор... верней сказать, пока еще жив.

Упряжки взмыли на высотку; расчеты, ссыпавшись с передков да зарядных ящиков, кинулись отцеплять и разворачивать орудия... Немцы не реагировали. Почему? Теперь, задним-то числом, можно выдумать много всяческих объяснений (например, немцам было попросту недосуг глазеть по сторонам). А за день до операции, когда Михаил пытался доказывать Зурабу, что никакая темнота не поможет скрытно выдвинуть орудия на такую позицию, стар-

ший политрук, маленько размыслив, ответил: “А ведь ты прав, да... Скрытно не удастся... Значит, придётся воткрытую”. Ошарашенный этакою логикой лейтенант Мечников позволил себе энергично крутануть пальцем возле виска. Как ни странно, Зураб на столь хамское нарушение субординации особого внимания не обратил, а только буркнул раздраженно: “Если даже ты в подобное не веришь, слушай, немцы тем более не поверят. Понял, ну?”

Один дьявол знает, чему на самом деле могли бы поверить немцы, а чему нет. Но что они позволили-таки расчётам “дивизионок” беспрепятственно занять позицию и изготовиться к стрельбе – это факт.

Немцы вообще вели себя непонятно. С расставленных в четком порядке бомбардировщиков сбрасывали камуфляжные сети и прочие маскировочные ухищрения; возле самолетов как на параде строились экипажи и техники... И как на параде же стыла перед деревянным одноэтажным зданием аэродромной конторы (или как такое называется?) серо-зелёная шпалера чёткого пехотного строя – на глаз примерно рота или побольше... Даже скорострельная зенитная установка, торчавшая у ближнего конца взлетно-посадочной полосы, казалось, не просто так себе задрала к небу опрокинутый конус пламегасителя, а тянулась по стойке смирно. Точно так же, как и ее выстроившийся рядом расчет.

И надо всем этим висела неправдоподобная тишина, набухающая спокойным ровным гудением. А потом в этот нарастающий гуд вплелось что-то вроде довольного мурлыканья сытого тигра, и Михаил, приподняв голову над бетонным бруствером, увидел, как из-за угла аэродромной конторы выдвинулся длинный, лоснящийся черным лаком автомобиль. И еще Михаил увидел заходящий на посадку неуклюжий тупоносый самолет (только тут лейтенанту сообразилось, что гул авиамоторов доносится не от выстроенных машин), а выше – распластанные крестоподобия двух истребителей: не то просто барражировщиков, не то...

Га-гах!!!

“Дивизионки” ударили осколочными по ротной шпалере, потом – по зданию, а потом принялись долбить красиво расставленные на поле бомберы.

С трёх ноль-ноль двадцать второго июня, когда на военный городок шестьдесят третьего отдельного посыпались немецкие фугаски – с того самого проклятого утра Михаил мечтал потешиться именно таким вот зрелищем: гансы, в животной панике мечущиеся под нашим огнем. И, конечно же, мечтал о подобном зрелище не один Михаил. Засевшие в бетонированной траншее красноармейцы хохотали, ревели свирепо-радостно, орали забористую злорадную матерщину... И стреляли, стреляли, стреляли...

Михаил тоже хохотал, орал и даже свистел в четыре пальца от избытка восторженных чувств. Но при этом он – как бы не единственный из всех – ухитрялся не только глядеть, но и приглядываться. И делать выводы.

Снаряды “дивизионок” наносили существенный вред бомбардировщикам только при прямых попаданиях, но снарядов было мало, бомбардировщиков – много, а пушки от спешки и жадности непростительно мазали...

Ладившийся было на посадку самолет (теперь-то он торопливо набирал высоту) несмотря на черно-зеленую камуфляжную раскраску производил впечатление скорей пассажирского, чем военного... И двойка “мессеров”, похоже, не просто выделялась среди белоснежных пухленьких облачков, а эскортировала его...

Нет, Михаил, конечно же, не был единственным, кто сохранил способность замечать и осмысливать замеченное. Уж во всяком случае не хуже разобрались в происходящем пилоты немецких истребителей. Не сговариваясь (а может, и сговорившись – кажется, все гансовские аэромашины оборудованы радиосвязью) они свалились в крутое пике, атакуя высоту. Засевшие в траншее бойцы встретили их плотным винтовочно-пулемётным огнем. Один из истребителей замарал небо дымной струей, отвалил в сторону и куда-то пропал. Но второй на бреющем мелькнул над орудиями (особого урона его очереди не причинили, однако заставили

артиллеристов прервать стрельбу и залечь) – мелькнул и снова взмыл ввысь, разворачиваясь для новой штурмовки.

Лейтенант РККА вряд ли четко сознавал, что он, лейтенант, делает. Верней, не ЧТО, а ЗАЧЕМ. То-есть он-то верил, будто действует вполне сознательно – верил до самого последнего мига.

Он поднял десяток бойцов в атаку на зенитную установку. Захватить гансовскую скорострелку было легче легкого: ее ошалелый расчет не то что оказать сопротивление – даже кинуться наутёк не додумался. Еще бы! В глубоком тылу – как снег на голову классическая фронтовая атака с артиллерией, со штыковой, с “Ура-а-а!!!”...

Михаил собирался заставить немецких зенитчиков сбить штурмующий высотку “мессер”, а потом вести огонь по бомбардировщикам. Но вместо этого неожиданно даже для себя самого он, яростно вопя: “Абшиссен! Вы, швайхунд, свиньи собачьи, абшиссен к едрёной фене!” – принялся тыкать пальцем вслед улетающему пассажирнику. Кряжистый ганс с унтерофицерскими знаками различия очнулся, наконец, от ступора и хватанул за кобуру, но кто-то из окруживших зенитку красноармейцев выстрелом в упор разнес ему череп, и остальные немцы кинулись лихорадочно крутить ручки наводки; с такой же лихорадочной поспешностью затыкал, задёргался, выплевывая снаряды, тонкий орудийный ствол... Те гансы были (вот они-то именно БЫЛИ) мастерами своего дела – после пятого или шестого выстрела неуклюжий самолет превратился в гремучий клуб оранжевого дымного пламени.

Хороший был день. Свои потери – семеро раненных; немецкие – ого-го какие; а Ниношвили, когда Михаил объяснил ему потом свои действия, на время забыл о дурацких подозрениях и даже расщедрился на благодарность перед строем. Правда, их отношения вскоре опять попрохладнели – это когда отличившийся лейтенант раскритиковал страстную Зурабову надежду на то, что в сбитом пассажирнике летел Гитлер.

А через день была Узловая. Черт знает, какая хыба приключилась тогда у немцев на железнодорожном мосту – во всяком случае, остатки шестьдесят третьего полка не имели к ней ни малейшего отношения. Зато упомянутые остатки хорошо попользовались ее результатами.

Среди скопившихся на станции эшелонов была длинная вереница топливных цистерн. Под одну-то из них и умудрились заложить сработанный Михаилом (инженер-сапёром по военной специальности) самодельный фугас – два килограмма тола с взрывателем замедленного действия. Это уж потом, после взрыва оказалось, что на соседнем пути стояли вагоны то ли с авиабомбами, то ли с крупнокалиберными снарядами... В считанные минуты Узловая сделалась похожей на проснувшийся вулкан. В радиусе пяти километров не осталось ни единого целого стекла, а зарево, наверное, было видно даже из-за линии фронта...

Зарево.

Пульсирующее, злое.

Ржавое.

Зарево, которое старший политрук Зураб Ниношвили вспоминает с восторгом и гордостью, а Михаил... Для него всё сложнее.

В сожравшем половину неба месиве кроваво-гнойного пламени, натужных громовых сполохов, дыма (то траурного, то иссиза-белого), Михаилу внезапно примерещились две громадные конские тени. Одна бледная, полупрозрачная, вторая гарево-черная, они схлестнулись-сплелись в беспощадной смертельной драке. Схлестнулись и сгнули. Но до сих пор каждое, даже случайное воспоминание о нелепом видении скручивает душу тошнотворными спазмами мутной и темной жути. А уж тогда, при виде... Нет, к черту, к черту!

...Богатырским усилием воли Михаил не позволил очередному припадку непонятного, и от этого еще более ужасного ужаса сбить себя со слова и с мысли. Голос лейтенанта, правда, задребезжал вдруг, прервался было, но раненому, да еще и после бессонной маятной ночи такое простительно.

– ...конечно же никакие не идиоты. А умные прямо-таки обязаны заподозрить, что мы не случайно атаковали Волховатку именно в момент прибытия важной персоны... И что это именно мы устроили диверсию, из-за которой Узловая переполнилась эшелонами. И кем мы тогда получаемся? Пойми... поймите же, товарищ комполка: нахрапом больше взять не удастся, потому что немцы успели нас оценить даже СВЕРХ достоинства. Здесь будет не как прежде. Здесь они нас ждут. Причем ждут нас не тыловики, подразмагниченные победными вестями с фронтов, а...

– Достаточно! – Старший политрук подчеркнуто не смотрел на Михаила. – Дальше и так понятно, да: “Скрытно... Без шума... Не предпринимать...” Пораженческие настроения! Трусость! Наш долг – пробиться к своим. ПРОБИТЬСЯ, понимаешь? Наноса противнику как можно больший урон! – Он перевел дух, заговорил спокойнее: – Даже если ты прав и МТС – это ловушка... Тем лучше. Значит, есть возможность для внезапности. Ударить, где не ждут. По наплавной переправе, так! А ты... – он наконец удостоил Михаила взглядом (тяжелым, неприятным, в упор), – ты крепко размысли, слушай! Мне давно подозрительны были твои некоторые слова, а теперь пошло хуже. Теперь дела начались. “Язык” – слишком большая твоя оплошность... и еще хорошо, если это только оплошность.

– МОЯ оплошность?! – от ярости Михаил позабыл и о слабости своей, и о субординации. – А не твоя?! Политрук, ни бельмеса не разбирающийся в людях – курам на смех! Этот твой гаденыш Голубев... Холуй по призванию... Молодой да ранний... А ты-то: “Не обнаружьте себя, не на шумите, никаких “языков”, поняли, да?” – трижды повторял, с нажимчиком... А потом, небось, отвел этого своего подлизалу-стукача в сторонку, да проинструктировал: “Ты следи там; лейтенант-то у нас мягкотелый интеллигент, следи, чтоб он глупостей не наделал...” У этой с-суки мозги и заработали... Начальство велело следить – значит, оно (начальство) ХОЧЕТ, ЧТОБ ВЫСЛЕДИЛ. “Никаких языков” – значит, вот какую глупость должен натворить лейтенант... То-то он мне при каждом случае... Г-гнида... И ведь не просто холуй, а холуй героический! Одним махом всех... весь отряд... и себя же самого вместе с прочими – лишь бы начальству подлизать!.. Душу мать расперетак вашу всехнюю!..

Они стояли лицом к лицу, полосуя друг друга свирепыми взглядами; они не задумывались о том, что их наверняка видят и слышат и что ссора командиров – плохое зрелище для бойцов-окруженцев. Командирам было по двадцать пять, у командиров накопело, командиры на какой-то миг перестали быть командирами.

– Ты, Зураб, на меня глазами не сверкай, я тебя еще не боюсь! Я тебе пока нужен! Кто, кроме меня, сможет понтонку взорвать подручными средствами – всякими там трофейными снарядами, дерьмом да соплями?! Никто! И вообще... Страшней всего, что в глубине души ты прекрасно понимаешь: на меня-то ты можешь положиться! На холуйчика своего Голубева – нет, а на меня – да! А только это не мешает тебе, как только выйдем к своим, сдать меня в особый отдел. Пораженец, мол, паникер и те де; стишки ещё, небось, приплетешь – ну, те самые... И будешь гордиться своей партийной принципиальностью. Вот что самое страшное: гордиться будешь! Из-за такой вот гордости мы и додрапали хрен знает докудова! И еще хрен знает куда додра...

У Михаила как-то внезапно и мгновенно ссохлась, омертвела гортань. Примерещилось ему вдруг что-то напрочь бредовое: будто бы глазами задохнувшегося от ярости старшего политрука Ниношвили одновременно и вместе с помянутым старшим политруком смотрит на него, Михаила, ржаво-бурая волкоподобная тварь. А еще – будто бы он, Михаил, стоит, где стоит, но и в то же время идет вслед убегающему горизонту... идет по жухлой осенней степи под низким да плоским кудлатым небом... и ковыльные стебли цепко охлестываются вокруг порыжелых кирзовых голенищ...

Так что смолк он – оторопело, испугано – еще за миг до того, как и.о. комполка обрел, наконец, голос, и заорал, наливаясь черной венозной кровью:

– Молчать, лейтенант Мечников!!!

2

– Ничего страшного, товарищ лейтенант. Кость целая... ну, то есть почти. А остальное... В детстве коленки расшибали? Вот и это ничуть не страшнее, только и того, что на голове. Ну, и немножко сотрясение мозга... так, самую чуточку...

– Сотрясение? Приятная новость: оказывается, еще есть чему сотрясаться... – Михаил болезненно сморщился, но не из-за настоящей боли, а скорей по привычке.

Морщиться ему теперь стало не из-за чего.

Сидеть, привалясь спиной к песчаному скату “госпитального овражка” оказалось ска- зочно удобно (еще и сложенную на манер подушки шинель подмостили туда, под спину-то); ловкие да проворные пальцы санинструктора творили натуральные чудеса – Белкина словно бы не присохшую к ране повязку меняла, а так только, поглаживала легонько. Главное же, лейтенант Мечников больше не должен был никому ничего доказывать. Лейтенант Мечников сделал всё, что мог; лейтенант Мечников предупредил, растолковал как умел, и не его, лейте- нанта Мечникова, вина, что старанья пропали даром. Пускай теперь бывший друг Зураб ломает голову над странным поведением немцев, а лейтенанту Мечникову голову уже без малого поло- мали, и означенный лейтенант имеет, наконец, полное право вздохнуть поглубже, закрыть глаза и...

– Нет-нет, товарищ лейтенант, спать вам нельзя. Всё-таки сотрясение, не шуточки... Нужно потерпеть хотя бы до вечера.

Вот так ангел милосердия в единый миг оборачивается ведьмой. Мучительницей. Палачк... палачих... в общем, палачом в коротковатой армейской юбке.

– Вы извините, я не смогу с вами долго сидеть. У меня других много, которым гораздо хуже... – бормочет в самое ухо, и трясет, трясет за плечо... – Я буду стараться подходить к вам почаще, а вы только не спите, хорошо? Вы же сильный, вы сами сможете. Вспоминайте что-нибудь хорошее и не спите, ладно? Ладно, а?

Что-нибудь хорошее... Дурочка ты рыжая, чего же хорошего может вспомниться чело- веку через полчаса после того, как ему, человеку-то, посулили расстрел? И даже не один рас- стрел, а три... Это не кто иной, как бывший друг Зураб давеча орал в своём так называемом штабе:

– Ты понимаешь, гжи, что наговорил на целых три расстрела?! Ты понимаешь, что я тебя обязан прямо вот теперь же?... Своими руками! У ближайшей сосны, шени дэда цхарли! С последующим оглашением перед строем!! Да!!!

Потом Ниношвили спохватился, заглядывался потешно и воровато, перешел с надсад- ного ора на ядовитое сдавленное шипение... Только Михаилу все эти политруковские угрозы да брань уже были до кубаря. Лейтенанту Мечникову сделалось очень гнусно и на душе, и вообще; а последняя тогдашняя Михайлова мысль была о том, что если вот сейчас его, Миха- ила, стошнит прямо на Зурабовы фасонистые синие галифе, то так старшему политруку и надо.

Обморочная марь слегка прояснела уже тут, в “госпитале”. Сквозь ее прозрачнеющие ошметки обозначилось усталое веснушчатое лицо санинструктора Белкиной, и Михаил, поль- зуясь положением несчастного раненого, которому простительно многое, чуть было не начал рассказывать обладательнице вздернутого облупленного носа, синих огромных глаз и хрипло- ватого, но очень милого голоса, до чего одному лейтенанту нравится всё перечисленное, и всё неперечисленное, и...

Нет, он не начал.

Во-первых, пребывая под угрозой пожизненного троекратного расстрела без права пере- писки, нечестно объясняться в любви (даже если почти уверен, что в ответ будешь безогово- рочно послан на маршрут Хабаровск-Уссурийск-Йокагама: “почти” – штука коварная).

А во-вторых...

Зрение с нескрываемым раздражением и без малейшей охоты, но всё-таки продолжало возвращаться к исполнению своих обязанностей; уже прорисованный им симпатичный портрет санинструктора (в стиле Монэ – нарочито нечеткий, подернутый светящейся дымкой) дополнился вторым и дальним планами, превратившись в многофигурную композицию.

Увы, хорошенькая санинструктор оказалась в этом произведении вовсе не ключевым персонажем. Стержнем композиции без сомнения был возносящийся из-за спины Белкиной силуэт – воплощение сосредоточенного и настороженного внимания. Лицо воплощения наглухо занавесила тень фуражного козырька, однако поза великолепно передавала... как это... а, во-во: скрытый динамизм. Обратите внимание, товарищи, до чего экспрессивно выписана левая рука – она касается плеча девушки вроде бы рассеянно, и вместе с тем сколько тщательно скрываемого, но всё-таки прорывающегося на волю чувства сквозит...

Да, уж Михаил-то не преминул обратить внимание и на сквозящие чувства, и на то, что Белкина вовсе не торопится стряхнуть разлегшуюся у нее на плече пятерню старшего политрука. Мечникову очень захотелось обратно в обморок, но сознание уже вернулось прочно и окончательно.

Оставалось лишь притворяться.

Раненый лейтенант успел схлопнуть приоткрытые веки раньше, чем их приоткрытость была замечена; беда только, что веки, засамовольничав, наотрез отказались схлопнуться до конца, оставили-таки крохотные щелочки для подглядывания. И – увы! – крохотность упомянутых щелочек давала Михаилу возможность видеть окружающее весьма отчетливо. СЛИШКОМ отчетливо. До вздорных подробностей – даже след отпоровшейся звезды-нашивки на Зурабовом рукаве различался достаточно явственно. Однако же докатился товарищ комполка! Небрежничает, за внешним видом следить перестал – не ай-яй-яй ли? И вообще... Потеря знака различия политработника – тут уж пованивает кое-чем серьезнее айяйяя! Можно ведь и вот как подумать: сперва с левого рукава потерял, потом так же “случайно” и с правого утерять... Сказать? Э, да пошел он... со своей Белкиной вместе...

Вслед за зрением включился и слух – сразу на полную силу, вдруг, неожиданно. Стоны, храп, захлебистый кашель, трудное дыхание и – время от времени – незамысловатые просьбы раненых; устало-терпеливое бормотанье штатского старичка-фельдшера, прибившегося к отряду под Узловой... И всё это, будто в дряблой пуховой перине, вязнет-барахтается в ровном да слитном ветряном шуме. Шумят, качают растрепанной зеленью вершины мачтовых сосен, плывет над ними в неизвестную даль необъятное лоскутное одеяло, стачанное из круто накрахмаленных облаков и ключев ледяной сини... Это – далеко, в головокружительной вышине. А здесь, рядом совсем, трепещет-лопочет потешными растопытками листьев ветка какого-то куста, усыпанная нарядными глянцево-алыми ягодами... и длиннющими шипами. Трепещет, мотается на ветру, стараясь не то исколоть, не то дружески трепануть обтянутое застиранной гимнастерочной тканью покато плечо, отдыхающую на нем крепкопалую руку...

– Очень прошу вас, – голос Зураба действительно был просящим, без малейших командирских оттенков, – очень я вас прошу всё же как-нибудь привести лейтенанта в дееспособное состояние на пару-тройку часов. Мне позарез нужно его знание немецкого, да. Позарез. Сможете, Вешка?

Белкина невразумительно дернула плечом, и Ниношвили почему-то воспринял это как утвердительный ответ. Наверное, старший политрук просто не догадывался, что на его просьбу могут ответить неутвердительно. Убрать с дернувшегося плеча свою ладонь комполка тоже никак не хотел догадаться, а голос его становился все более и более некомандирским:

– Вешка... Веш-ка... Давно очень спросить хочу: почему имя такое? Необычное у тебя имя, никогда такого не слышал...

– Это сокращение, – ровно и отдельно сказала Белкина. – От “Великая школа коммунизма”.

– Хорошее имя! Ва, а это вот что? – Ниношвили наклонился, приблизив лицо к ее затылку. – Цепочка? Неужели крестик носишь? Стыдно! Комсомолка, имя такое правильное – и крестик. Ай, слушай, стыдно как!

Он запустил было пальцы (пальцы правой руки – левая с прежней рассеянностью лежала на прежнем месте) за ворот санинструкторской гимнастерки, но обладательница странного имени произнесла всё с той же нарочитой раздельностью:

– Товарищ комполка, перестаньте, или я закричу.

Ниношвили отшатнулся, будто ужаленный.

– Вы... Вы что, Белкина, совсем сумасшедшая? – бормотал он, затравленно озираясь (вспомнил-таки, дурень, что вокруг полно раненых, и что отнюдь не все они без сознания или спят). – Да я... Да мне... И в мысли ничего такого не приходило... не могло прийти...

– Вот и славненько, – санинструктор запрокинула голову, снизу вверх глянула Зурабу в лицо. – Но на случай, если вам всё-таки “придет в мысли”, предупреждаю: я детдомовка, а там нужно было или научиться защищать себя от любых, или... Так вот: я научилась.

Она вздохнула и вдруг сказала совсем иначе, как-то очень по-будничному:

– У вас с левого рукава звезда потерялась.

Старший политрук суетливо вывернул руку, очень (и даже слишком) внимательно рассматривая рукав; сокрушенно зацокал языком; для чего-то принялся торопливо, но с изнурительными подробностями рассказывать, что такая потеря – это плохо, стыдно и огорчительно, что звезда потерялась еще во время последнего ночного марша (зацепил, наверное, и даже не заметил, где да когда), что потом (прямо згапари, слушай, чудо, одно слово – чудо!) на каком-то шипастом кусте совершенно случайно нашел другую – рваную, выцветшую, рыже-бурую от старости – и кое-как пришил ее к рукаву колючками... думал по свободе закрепить прочнее, но свободы никак не выпадало... а теперь и эта потерялась – в-ва, как нехорошо!..

Ниношвили ухитрился проплутать в затуманенных дебрях своего повествования никак не меньше полудесятка минут. Этим бы, всего скорее, дело не ограничилось: старший политрук явно готов был трепаться хоть до заката, лишь бы как-нибудь замять, утопить в говорильне давешний инцидент... А инцидент, между прочим, изрядным образом встревожил якобы беспамятного лейтенанта – до того встревожил, что упомянутый лейтенант чуть было не забыл о притворном своем беспамятстве.

То есть Михаил-то, конечно, знал, как Зураб относится к Белкиной. Давно, еще до войны (господи, “давно” и “еще” – это всего-навсего месяца четыре назад!) старший политрук как-то обмолвился тогдашнему своему душевному другу Мечникову, что рыженькая санинструктор из второго батальона – очень-очень-очень, и что если бы не невеста в Потю... Кстати сказать, душевный друг Мечников тогда же (точнее, на той же пьянке) обмолвился о том же самом, так что тут они с Зурабом квиты – это если не принимать во внимание отсутствие у Михаила невесты не только в Потю, но и вообще где бы то ни было.

Да, знать-то о Зурабовой симпатии к Белкиной Михаил знал; но этот давешний срыв старшего политрука... Это чтобы Ниношвили с его вечным страхом уронить свою партийную и командирскую репутацию аж настолько утратил самоконтроль, чувство реальности и черт знает что там еще утрачивал и.о. комполка каких-нибудь пять-шесть минут назад...

И Михайловы раздумья, и неуклюже-многословную повесть Зураба оборвало внезапное:

– Товарищ старший политрук, разрешите обратиться!

Мечников от неожиданности вздрогнул, но уже начавшая было возиться с его бинтами санинструктор этого не заметила – она сама вздрогнула, обернулась к источнику излишне громкого и слишком уж бравого выкрика.

Со своего места Михаил увидеть выкрикивателя не мог, да и не хотел. Он (Михаил) и так понял, кто это.

Сопляков, приведенных возвратившейся разведкой, комполка приказал накормить и устроить для отдыха так, чтобы они никому не мешали, но на всякий случай были бы под при-
смотром. “Я с ними попозже разберусь”, – сказал он тогда. “Попозже” затягивалось, и девочка Мария Сергеевна отважилась проявить инициативу.

Однако товарищ старший политрук медлил разрешать к себе обратиться. Товарищ стар-
ший политрук как-то странновато взглядывал то на слегка оторопелую Вешку, то (по всей
видимости) на сопляческую командиршу. Михаил, который от любопытства даже о боли забыл,
начал потихоньку разворачиваться лицом к девочке Маше.

Телодвижений псевдообморочного лейтенанта снова вроде бы никто не заметил. А сам
лейтенант, наконец, сообразил, почему там, в лесу, юная Мария Сергеевна показалась ему то
ли уже виданной, то ли на кого-то похожей.

Она оказалась похожей на Вешку Белкину. Очень. Даже стрижка у обеих была по-оди-
наковому и не по-женски коротка. Черт знает что! Хотя, причем тут черти? Ведь Вешка – дет-
домовская; мало ли где и какая может оказаться у нее безвестная прежде родня!

Судя по выражению лиц Белкиной и политрука, в их головах копошились такие же
мысли. А вот юная Маша умудрилась вообще не заметить наступившее замешательство.

– Т-товарищ старший политрук, – повторила она, заикаясь от смущения, – разрешите...

– Кто вы такая? – резко перебил Ниношвили.

Девочка не вполне безуспешно попыталась щелкнуть каблуками:

– Командир разведвзвода Чернохолмского партизанского отряда имени Чапаева Мысь.

– Что? – раздраженно переспросил Зураб.

– К-командир...

– Нет, последнее слово вы какое сказали?

– Мысь, – стесняясь, повторила девочка Маша. – Это фамилия. Моя.

– Так, – старший политрук заложил руки за спину и принялся рассматривать носки своих
сапог. – Ваше сходство с санинструктором Белкиной можете объяснить?

– Мое сходство с... – Маша Мысь, наконец, зацепилась недоуменным взглядом за лицо
санинструктора.

Изрядное время она (Маша) озадаченно хмурилась; потом вдруг ойкнула и прижала
ладони ко рту. От порывистости этого движения висевшая за девочкиной спиной громоздкая
трехлинейка заболталась из стороны в сторону, едва не валя с ног шуплую свою владелицу.

Заметно подобнищавший терпеньем Зураб вынужден был еще дважды повторять свой
вопрос, прежде чем Маша решилась отлепить от губ напряженные побелелые пальцы.

– Я... – она смотрела на Вешку, как, наверное, Дежнев смотрел на мыс Дежнева. – Пони-
маете, я в детдоме росла. Родных никого... то есть никого не знаю. Так что мало ли...

Крупная увесистая шишка, сорвавшись откуда-то с высоты, чиркнула (наверняка весьма
ощутимо) по рукаву Белкиной. Белкина даже не вздрогнула – она безотрывно таращилась на
юную Марию Сергеевну. Как Магеллан на Магелланов пролив.

Ниношвили рассеянно потеревил холеные усики, вздохнул устало:

– Ладно, какие уж тут объяснения, слушай... Вопрос был неумный, признаю. Прости,
патара... А что это ты говорила про партизанский отряд?

Вместо ответа бравый командир разведвзвода позволила себе осведомиться, что такое
“патара” и совершенно по-детски обиделась, надула губы, узнав, что словцо это на грузинском
языке означает “маленькая”.

Потом, всё с тем же надутым видом, юная Мария Сергеевна принялась жаловаться (ока-
зывается, именно ради этого она и отважилась незваной заявиться к командиру полка). Мно-
гословностью и неудобопонятностью девочкина жалоба вполне могла потягаться с давешним

рассказом Зураба о самотеряющихся матерчатых звездах. Разница между двумя этими повествованиями заключалась лишь в том, что Ниношвили говорил медленно, а девочка Маша строила, как счетверенный пулемет:

– Вы, старший товарищ политрук, то есть товарищ старший политрук, велели нас троих покормить и организовать нам всё, что понадобится, – это было выпалено тоном государственного обвинителя на показательном суде по делу “промпартии”, – так Пашке с Серегой плевать, налопались и дрыхнут себе, а я не могу больше, уже две недели почти в лесу, и всё толком не мывшись, потому что мыла нет и эти двое рядом всегда – портянку затеешь перематывать – и то глазами до костей проедают, а по всяким надобностям идя их боялась хуже, чем немцев; а тут дядечка повар ваш обмылок подарил, а часовой к реке не пускает, говорит, вы про нас приказали: “Под присмотром”, – а как же под присмотром-то мыться? Вон дядечка старшина повар ваш сказал: “Щас цельный котел тебе накочегарю, и хоть с головёнкой мырай” – а эти ваши жеребцы уже тут как тут, штук почти десять: кто поливать набивается, кто спину тереть... Дядечка повар на них ополовником (здоровущим таким!) а они, кобели: “Что, – ржут, – для себя бережешь? На дряхлости лет молоденькой курицы захотел?” Это, значит, по-ихнему, по-красноармейскому, я получаюсь курица, да?!

Некоторое время Ниношвили с тихим отчаянием пробовал выяснить, какие у девочки Маши есть основания полагать, что это именно его персональный обмылок подарил ей “дядечка повар”; зачем упомянутая девочка ходила по надобностям, которых нужно бояться сильнее, чем немцев; о чем конкретно ржали кобели и откуда в расположении полка взялось аж десять жеребцов, если по сведениям командира в наличии имеется всего один конь, три кобылы и мерин.

Да, а еще не грех было бы понять, наконец, самое главное: чего же Маша добивается от “старшего товарища политрука”? Приказом по вверенному подразделению запретить дарить ей обмылки, тереть спину и называть курицей? А? О боже, она что, снова всё начинает?! В-вай мэ, шэни дэда бааки, молчи, пожалуйста! Цыц!!!

Взгляд командира полка затравленно метнулся по сторонам (резкое оскудение гостеприимных шумов доказывало, что вокруг – презрительнейшее количество любителей бесплатного цирка), потом вскинулся к зениту (солнце переваливает за полдень, дел неуправот, положение отряда – хуже худшего, а тут...).

Зло и больно дернув себя за усы, старший политрук прищурился на вновь было открывшую рот девчонку и вдруг рыкнул по-зверски:

– И-р-р-на!!!

Та перепуганно вытянулась.

– Про партизан! Всё, что знаешь! – Зураб будто не говорил, а шашкой взмахивал. – Ну?! Девочка Маша судорожно – с паузами – вздохнула и принялась говорить.

Про партизан.

Всё, что знала.

Речь ее на сей раз сделалась прямо-таки удивительно разборчивою да складной, и по всему чувствовалось: рассказываемое вызывает у Марии Сергеевны как бы не меньше эмоций, чем похабные предложения потереть спину и даже чем размеры ополовника, принадлежащего дяденьке старшине.

Что ж, ребенок – он и есть всего лишь ребенок. Даже если взрослые дяди дали ему неподъемное по его силенкам да росточку оружие и велели называться командиром взвода разведчиков.

Взрослые дяди...

Сволочи.

Это не кто-нибудь, а старший политрук Зураб Ниношвили так сказал про секретаря Чернохолмского горкома ВЛКСМ и про еще нескольких своих партийных соратников. Сказал, и

тут же, извиняясь, энергично закивал Маше: дескать, не обращай внимания, дальше, дальше рассказывай... И до самого-самого окончания Машиного рассказа он больше ни разу не перебил, лишь багровел мучительно (то ли от стыда, то ли от ярости, а верней, что от того и другого разом).

...Их вызвали в горком комсомола повестками, которые разносил очень деловитый и очень важный курьер в форме бойца войск НКВД. Вручая повестки, он заставлял расписываться в получении и – отдельно – в “неразглашении”. Еще раз подписку “о неразглашении полученных сведений” с них взяли в горкоме. Потом очень ответственные товарищи рассказывали о тяжелом положении на фронтах, о долге перед Родиной и советским народом; напоминали о героизме комсомольцев Гражданской и ударных строек...

Из горкома они вышли бойцами партизанского отряда имени Чапаева. Бойцами и командирами.

Ни в тот вечер, ни позже Маша как-то не задумывалась, почему ее успехи на должности секретаря первичной организации краеведческого музея да многократные положительные отзывы горкомовского культсектора сочтены достаточным основанием, чтобы доверить комсомолке Мысь Марии Сергеевне (первый раз в жизни ее называли по отчеству – и кто, кто назвал-то!) командование разведвзводом. Чего задумываться, если, наконец, сбылось заветное, если повезло наконец?!

Это раньше она задумывалась. Обтирала в запаснике сухую мохнатую пыль с какого-нибудь “Ном. катал. 125, колесо прялочное, дерево, лакировка, фрагменты орнаментальной резьбы, пр. сер. XVIII в. н. э.”, сыпала по углам отраву для невесомых от голода музейных мышей, а душу изводили-мытарили тоскливые мысли, едкие, как сортирная хлорка. Неужели это навсегда?! Неужели твоя судьба так и не расщедрится ни на что большое, яркое? Ты, уборщица со звучным названием “музейный работник”, Гайдар, небось, в твои годы... А ты...

И вот, вот оно, яркое и большое. Долгожданное. “В жизни всегда есть место подвигу”... “Героями не рождаются”... Сбылось. Конечно, ты – не Гайдар, и взвод (даже разведвзвод) слабовато тянет против полка... Ничего, лиха беда начало.

Она шла по до скуки знакомым немощным улочкам, сдавленным подслеповатыми низенькими домишками и высоченными глухими заборами; навстречу ей брели нестройные колонны отступающей вымученной пехоты (щетиныстые угрюмые лица, грязные гимнастерки, сухая серость пыльных бинтов); над западным берегом тяжелое, беременное дождем небо корчила судорожными зарницами пугающе близкая канонада...

А в Машиной голове таким праздничным конфетти мельтешило геройское: “Ничего-ничего, они еще поймут, на кого посмели!...” “Мы им покажем!...” “У-хо-дили комсомо-о-льцы...”

Желание петь выветрилось на следующий же день. Оказалось, что командиром взвода быть сложно и скучно – и не только потому, что взвод покуда сформирован карандашом на тетрадном листке. Вдруг оказалось, что командир – это не столько “За мной, в атаку, ур-ра-а-а!!!”, сколько нечто вроде завхоза. Или завсклада. В общем, “материально ответственное лицо” – формулировка, всегда пугавшая Машу до темноты в глазах, ибо означала такая формулировка по Машиному разумению одно: кто-нибудь что-нибудь обязательно слямзит, а посадят тебя.

“Слава богу” – восклицание старорежимное, комсомолке оно не к лицу. И всё-таки это вот злосчастное “слава богу” так и вертелось на Машином языке в те сумасшедшие дни, сожранные организационно-хозяйственными кошмарами.

Слава богу, рядом всё время был кто-нибудь из горкомовских старших товарищей, и Маше не пришлось разбираться в захлестнувшем ее потоке материальных требований, накладных и прочей бюрократии. “Подпиши здесь... так, теперь здесь и вот здесь... Так. Подвода и грузчики на улице, спускайся и жди меня – сейчас поедем отоваривать.”

Слава богу, нашлось кому подумать о горах всевозможнейшего продовольствия, о медикаментах, бензине (пятьсот литров – для светильников и противотанковых бутылок), спирте (сто литров для медицинских целей) и обо всём прочем, которое, оказывается, необходимо партизанскому разведзводу.

Слава богу, она постеснялась удивиться вслух, когда в одном из требований на глаза ей попало: “ковёр дагестанский, 6х4 метра, 3 шт.” Удивиться этой записи не постеснялся жирный, лысый и мелочноскандальный кладовщик с потребсоюзовской базы – это на него, кладовщика, орал тогда секретарь горкома ВЛКСМ товарищ Гуреев: “Саботажник! Контра! Людям... нам в лес уходить, зима на носу, холода – это ты понимаешь?! Хочешь, чтоб твои ковры немцам достались, шкура?! Накрасть хочешь под шумок и сбежать?!” Кладовщик лепетал что-то о палатках да спальных мешках на гарнизонном складе, но товарищ Гуреев глушил это лепетанье хлесткими, как пощечины, выкриками: “Армии и так тяжело! Город пообещал Партии своими силами оснастить партизанский отряд, и город свое слово сдержит! А ты... Знаешь, как поступают с саботажниками по законам военного времени?! Знаешь?! Или объяснить?!” – и хватался за деревянную кобуру огромного именного маузера.

Маша восхищалась Гуреевским напором, негодовала на тупицу-кладовщика и только одного не могла взять в толк: зачем же было требовать с нее и других подписки о неразглашении того, о чем сейчас товарищ Гуреев кричит чуть ли не на весь город?

Потом они свозили имущество разведзвода и других взводов в лес, оборудовали замаскированную партизанскую базу... А дня через три, вечером, в “обстановке строжайшей конспирации” Маша Мысь получила в райкоме партизанское удостоверение, напечатанное на тонком белом полотне (чтоб можно было вшивать за подкладку), винтовку и две обоймы. А еще указания. Точные и подробные. О том, кто, когда и как должен подать сигнал “немедленно явиться на сборный пункт”; о том, в какой ситуации и каким образом допускается выходить на связь с городским подпольем, возглавит которое сам секретарь горкома ВКП(б)...

Домой она возвращалась уже в темноте, сквозь опустелый, затаившийся город. Кано-нада смолкла – только изредка откуда-то с востока погромыхивали одиночные артиллерийские выстрелы, и снаряды, пробуравив чистое многозвездье, негромко, словно бы украдкой рвались на западном берегу.

Маша поминутно нащупывала в кармане смятый лоскут удостоверения – всё пугалась, будто выронила, потеряла. И еще она боялась, не прицепится ли квартирная хозяйка, любопытная баба Клава, с расспросами: где, мол, шлялась до темени и что за длинный сверток промасленной бумаги приволокла.

А потом командир разведзвода Мысь Мария Сергеевна (1925-го года, русская, комсомолка, образование семь классов) перестала бояться любопытства квартирной хозяйки.

Землю качнул прикатившийся от реки могучий громовый удар; в улицу вплеснулось короткое злое зарево – по высветившимся на миг кирпичным стенам да пыльным доскам заборов мотнулась путаница мимолетных рыжеватых теней...

Маша сразу поняла, что это взорвали мост. Поняла и, замерев посреди улицы, воткнулась нетерпеливым взглядом в чернеющую на фоне ослепительных звездных россыпей верхушку колокольни. Как будто бы “партизан”, которому поручили подать сигнал сбора сразу после взрыва моста, мог успеть добраться до развалин монастыря!

А со стороны приречных околиц наваливался на мертвую тишь обмирающего городка шум моторов – непривычный, какой-то суетливый, трескучий.

Когда Маша Мысь очнулась, наконец, от нелепого своего столбняка, немецкая моторизованная разведка уже добралась до центральных улиц. Взрыв дряхлого деревянного моста не задержал противника на “минимум два часа”, как планировалось. И, наверное, вообще ни на миг не задержал. Потому что немцы пришли к Чернохолмью не из-за реки, а вдоль неё.

Дальнейшее командир разведзвода помнила смутно. Вследствие каких-то очень сложных, но казавшихся тогда ясными и бесспорными соображений, она решила пробираться не к сборному месту, а прямо на партизанскую базу. Решила, и пробралась. Как? Этого Маша не помнила.

Маша помнила только, что, уже перед самым рассветом отдыхая на опушке леса (это Марии Сергеевне только теперь удалось себя убедить, будто на опушке она замешкалась ради отдыха – в действительности же бравый командир партизанской разведки изрядное время не могла заставить себя уйти со страшного открытого места в еще более страшную лесную темень) ... Так вот, тогда она услышала перестрелку: густой автоматный рев и реденькие огрызания трехлинеек.

Это доносилось со стороны сборного пункта партизан-комсомольцев (прибрежного поросшего кустами холма с валуном на вершине), и Маша уже было совсем собралась бежать на подмогу, но... Пока она передергивала винтовочный затвор, проверяла, не вывалилось ли таки из кармана недоладное удостоверение, застегивала телогрейку и вновь проверяла удостоверение... Пока она занималась этими очень нужными, своевременными делами, возле проклятого холма всё затихло.

К базе она вышла ранним туманным утром.

Тщательно замаскированный склад оказался развороченным и пустым, вокруг змеились глубокие автомобильные колеи. Маша вообразила сперва, будто отрядные запасы разграблены немцами, но колеи были оплывшими, давними; в них да во вскрытые ямы-хранилища успели нападать сосновые иглы и растрепанные спелые шишки...

Под вечер на базу прибрели Колька и Сергей. Эти двое сразу после взрыва моста успели проскочить к сборному месту и лежали там в кустарнике до предрассветной зари вместе с еще десятком таких же успевших, надеясь, что вот-вот появятся горкомовцы и товарищ Гуреев – штаб отряда и его командир.

Ни товарищ Гуреев, ни горкомовцы так и не появились. Вместо них появилась длинная извивистая колонна немецких мотоциклистов, и какой-то дурак выстрелил по ней. А потом...

Как им обоим удалось спастись, Сергей с Колькой то ли не помнили, совершенно обалдев под шквальным огнем, то ли отчаянно не хотели помнить.

Больше никто на базу не приходил.

Два дня спустя Маша отважилась пробраться в город, но чистильщика обуви – связного подпольщика – на условленном месте не было. Зато удалось подслушать уличный разговор о том, что партийное начальство за несколько часов до прихода немцев удрало на восток со всей своей родней, а “этот комсомольский горлопан Гуреев целых две полуторки барахла увёз”. Говорили об этом торговки – бабы толстые, красномордые, гадко-злорадные и вообще абсолютно несимпатичные... но Маша почему-то безоговорочно им поверила.

При таком положении дел всего разумней было бы троем партизанам утопить винтовки в какой-нибудь из лесных болотин да скрытно рассредоточиться по домам. Но партизаны решили иначе. Они решили, что совесть – личное дело каждого, и если у кого-то ее невдосталь, то это вовсе не означает разрешения всем остальным людям тоже махнуть на совесть рукой.

Вот тут-то, под монотонный, обесцвеченный тоскливым смущением словечек Маши, лейтенанту Мечникову подумалось вдруг ни к городу, ни к селу, что Николай Васильевич Гоголь (или кто бишь?) в свое время сморозил преизрядную глупость. “Две беды у России: дороги и дураки...” Чушь. Эта страна (да и только ли эта?!) всегда держалась исключительно на дураках. На таких, как рыжая сопливая дура Мария Сергеевна. На беззаветных истовых дураках с уродливо гипертрофированным чувством долга. Которые готовы на всё единственно ради высоких идей, справедливости и другой всякой галиматии – причем (вот особо ценное качество дураков с точки зрения людей умных!) за одно только спасибо.

Спасибо...

Это уж потом, когда нужда в героической глупости отпадёт, похлопаешь дурачка снисходительно по щеке ладонью – он и радёшенек. А то и не ладонью – кулаком его, да со всего маху, да с хряском, да не единожды... Чтоб, значит, не возомнил. Чтоб имел о себе правильное понятие и не лез бы со свиным рылом. А другие-то дураки во все глаза глядят на такую благодарность; глядят, значит, всё видят, всё понимают... возмущаются даже... Но ничему, ничему не учатся. Никогда. Это их еще одно особо ценное качество.

Михаил как в обморок провалился в эти чернушные мысли, и вынырнул из них лишь когда его, словно приводящая в чувства пощечина, хлестнул голос Зураба:

– Хватит. Генацвале гого, шени черимэ, ты уже достаточно наговорила. Теперь пойдешь со мной в штаб и всё напишешь. Поняла, да? Всё, о чем рассказала. А еще напишешь фамилии тех, кто должен был возглавить ваш отряд и подполье. – Старший политрук отвернулся; вместо раздельной речи в горле его заклокотал невнятный яростный хрип. – Если всё-таки выживу... Если... Кровью своей клянусь, матерью, совестью партмушаки: жизнь тогда положу, а этих... этих... Рамбавий! Жаль, что их к стенке – таких бы не стрелять, с таких бы шкуру... живьем... Чтоб честную пулю солдатскую не поганить...

Он вдруг оборвал своё бормотание, вскинул лицо к небу (резко, чуть не стряхнув с головы фуражку) и принялся то ли молиться, то ли... То ли. Молящийся Зураб Ниношвили – это уж слишком. Даже для теперешнего случая – всё равно слишком.

Подмявшее «госпиталь» гробовое молчание сдвинула Маша. Сперва она попыталась обратить на себя внимание командира полка тяжким вздохом; затем принялась кашлять (с тем же успехом... то есть с полным отсутствием такового). Наконец, снова душераздирающе вздохнув и по-помидорному покрасневшись, девочка отважилась-таки снова заговорить. Почему-то ей вздумалось рассказывать о Чернохолмском краеведческом музее: что создан он на основе частной коллекции какого-то местного историка-любителя; что до самого последнего времени считалось, будто ничего особенно интересного в здешнем музее не хранится, но буквально за день до начала войны какая-то комиссия из Москвы обнаружила в запаснике несколько экспонатов, ценность которых была бессовестно занижена прежним владельцем – может, по невежеству (любитель же всё-таки!), а может, и злонамеренно («он ведь буржуем был, а буржуи очень даже саботировали... как это... а, во: акты на-ци-о-на-ли-за-ци-и, уф!»). И вот, значит, та комиссия...

Старший политрук, отвлекшись от созерцания облаков, уперся в говорливую партизанку диковатым непонимающим взглядом и уже разлепил было губы для окрика, но оборвать Машину неуместную лекцию не успел. Его опередила санинструктор.

Вешка Белкина так и просидела всё это время, держа на коленях голову якобы обморочного лейтенанта. Якобы обморочный лейтенант не возражал бы оставаться в таком положении хоть до вечера, однако у санинструктора была совершенно иная точка зрения на сей счет.

– Слушайте, – раздраженно сказала Вешка, обращаясь вроде бы сразу ко всем окружающим, – вам не кажется, что здесь мало подходящее место для...

– Да, конечно, – кивнул старший политрук. – Уже уходим. Напоминаю: не позже, чем к вечеру лейтенант Мечников мне понадобится.

– Но ему нельзя напрягаться, ему нужен покой! – Белкина позволила себе повысить голос.

Не снизойдя обратить внимание на санинструкторскую дерзость, Ниношвили чиркнул по лицу Михаила странным каким-то (сожалеющим, что ли?) взглядом:

– Ну, вряд ли лейтенанту придется очень уж долго напрягать себя. И, наверное, скоро ему будет-таки... э-э-э... покой. Ладно, – Зураб обернулся к растерянно хлопающей глазами командиру разведвзвода, – Идите за мной.

Маша судорожно заикалась, спеша что-то сказать, но комполка прикрикнул на неё:

– Шагом марш, гого, чкара! По дороге доскажешь.

“По дороге”, естественно, началось от самого “шагом марш”, но Михаил ни слова не расслышал из пулеметной скороговорки Марии Сергевны. Не расслышал, потому что в тот же самый миг Вешка Белкина заметила, наконец, осмысленность в его неосторожно открывшихся глазах да тут-то и занялась ссохшейся от крови Мечниковской повязкой, бормоча про сотрясение, про “ничего страшного”, про “не спать” и про “вспоминайте о чём-нибудь приятном”.

Вот оно и вспоминается теперь, приятное. И неприятное. Больше – неприятное. Причём именно то, которое только-только успело ушмыгнуть в прошлое. Вот странно, неужели где-нибудь там, поглубже в минувшем, Михаилу Мечникову толком и вспомнить нечего? Хрен уже с ним, с приятным – ну хоть что-нибудь более ли менее примечательное может, наконец, явиться на ум?!

Хоть что-нибудь...

Что?

Воспоминания о родителях, о детстве? Хрена – не помнишь ты ни родителей, ни своего раннего детства. А детство позднее... Да пошло оно! Не было у тебя в полуголодном твоём детдомовском прозябании ничего примечательного; примечательно плохого не было, а примечательно хорошего – и подавно; было только серое тоскливое беспросветье, но его лучше не вспоминать (особенно при сотрясении мозга). Разве что Очковая Кляча... то есть Кляйн Софья Иогановна, школьная библиотекариша... Добрая была, несмотря на вечный её постнобрезгливый вид. Да, очень добрая она была, особенно к детдомовцам – жалела, подкармливала... кое-кого даже домой к себе зазывала, обедами потчевала... Только вспоминать о ней всё равно не хочется. Потому что это она прирастила Мишку Мечникова к чтению и научила даже не просто думать, а вдумываться. И додумываться. Если бы не такая наука (к тому же явно и чересчур преждевременная), детство осталось бы в твоей памяти щедрой россыпью обычных соплячих радостей да трагедий, а не... а не... а не тем, чем осталось.

Да разве же только детство? Ведь и позже, после детдома... Нет, врёшь. После детдома примечательного стало – хоть отбавляй... Жаль только, что отбавлять было некому. Впрочем, хорошее, наверно, случалось с Мишкой, Михой, Михайлой и т. д. Мечниковым гораздо чаще, чем всякие беды да неприятности. Просто, например, радость от вобщем-то нежданного успеха – поступления в худпром – почему-то вспоминается куда смутнее, чем тот гаденький осенний денёк, когда в актовом зале собрали студентов первого-второго курсов, и седовласый полковник с двумя орденами Красного Знамени на широченной груди рассказал, как нужны Родине инженерно-сапёрные кадры.

Прямо из актового зала их повели в военкомат; они шли строем, пели бравые песни, и Михаил вместе с другими выводил надсаженным своим тенорком: “Если завтра война, если завтра в поход...”, и молился, отчаянно молился про себя, чтоб или кирпич с вон той ветхой развалюхи сорвался откуда-нибудь из-под самой крыши, или чтоб во-он та извозчицья лошаденка вдруг понесла, врезалась в строй и... Или чтоб у Михаила Мечникова вдруг открылся какой-нибудь страшный неизлечимый недуг... Ведь другим же везёт – Глущенко, например, одноногий; ему хорошо...

Кирпич не сорвался. Лошаденка не понесла. Открытие недуга не состоялось. Господь побрезговал внять молитвам сопливого атеиста, возмечтавшего об увечьи как о способе отбояриться от судьбы под названием “комсомольский набор”. И в военкомате всё прошло лихо. По-Ворошиловски. На ура.

Быстро, очень быстро, слишком быстро сломалась Михайлова жизнь на чьем-то колене, обтянутом жестким зелёным сукном. Даже проститься с Леонид Леонидычем не удалось – старик был тогда в Ленинграде по каким-то делам.

Леонид Леонидович...

Старый branчливый неряха, похожий на облезлого перекормленного кота...

Как он тогда раздолбал курсовую работу самонадеянного нахала по фамилии Мечников!
В пух и прах раздолбал. Вдрызг. В ключья.

Слава богу, наконец-то вспомнилось по-настоящему хорошее!

* * *

– Ну-с, чего же вы изволите ждать, молодой человек?

По тесной беззаконной комнате мощными пластами стелился дым скверного табака. Свисающая с потолка на дряхлом витом шнуре пыльная лампочка без абажура пропитывала это табачное туманоподобие болезненной желтизной, невнятно высвечивая окружающее. Обширные стеллажи, напичканные бюстами, чучелами, какими-то заспиртованными препаратами в вычурных фармакологических посудинах; сделанные из папье-маше и весьма натурально раскрашенные обрубки местами ободранных да частично выпотрошенных человеческих тел; плотная, настороженно-выжидательная гурьба скелетов в дальнем углу... Посреди всего этого великолепия горбатый над обшарпанной столешницей Леонид Леонидыч казался... казался... Ну вот ему бы еще ворона на плечо, а из-под стола чтоб время от времени вспыхивали изумрудными фонарями глаза черного до невидимости котика...

Михаил невольно хихикнул, и Леонид Леонидыч саркастически изломил серую щетину бровей:

– Это бы мне сейчас впору насмешничать, мой юный и дурновоспитанный друг, – он неуклюже поднялся, рассеянно-привычным движением отряхнул с мятой толстовки и широких брюк обильные россыпи махорочного пепла. – Да-с, мне бы... Вы, юноша, видать, глуповатеньки, раз явились искать совета У МЕНЯ. Чем же это все ваши преподаватели сделали так нехороши, что вас понесло за советом к заведующему хозяйством?

Завхоз Леонид Леонидович пригладил остатки волос, окаймлявшие подковой скудной седины его тонзуроподобную глянцевую плешь; набычился:

– Всё, более не смею задерживать. А знал бы, зачем припожаловали – вообще б не впустил.

Вот так, студент Мечников. Всё. Очень интеллигентное “пшел на хрен”. Забирай-ка свою папочку, на стол к европейской знаменитости подsunутую, но так знаменитостью и не тронутую; вставай с шаткого стула (на который ты, между прочим, плюхнулся без приглашения, понаглому) – вставай и выметайся, куда послали. Не желает знаменитость с тобой общаться. Знаменитость отвыкла быть живописцем, знаменитости уютней в завхозах...

Но на деле Михаил отнюдь не поспешил тогда встать и выместись.

Некоторое время завхоз художественно-промышленного училища давил нахала-студента мрачным тяжелым взглядом, потом вдруг ослабился:

– Настырный... – И пойдй разбери: с одобрением это буркнуто, или как раз наоборот? – Ну-ну... Впрочем, полагаю, вы...

Продолжения студенту Мечникову пришлось ожидать довольно долго.

Смолкнув на полуслове, Леонид Леонидыч опустил в пискнувшее под его тяжестью лозовое кресло, выволок из кармана гигантский кисет и принялся скручивать соответствующих размеров папиросу. В конце концов это истовое священнодействие окончилось спичечной вспышкой, и из недр закрутившегося едкого облака выбарахтался ехидный старческий голос:

– Полагаю, вы, юноша, не вполне уясняете, чем ваша настырность грозит персонально вам. Не вполне уясняете, к кому вы... А? – Секундная запинка, мрачный смешок... – Равновзвешенность... Скверное, скверное словцо. На одной чашке весов – слава, шумиха в европейской прессе, всякое там: “Большевики уничтожают цвет интеллигенции”... А на другой... э-э... много чего. Например, фотография в “Ведомостях”, на коей великий князь Константин Кириллович запечатлён едва ль не в обнимку с неким живописцем... И вот результат – соломоново

решение какого-то власть имущего мудреца: определить на благое дело обучения молодёжи страны Советов, однако при том лишить возможности обучать. Да-с, равноувешенность... Но – увь! – слава, как общеизвестно – дым. Она стареет, выветривается... тает... А прочее – нет. И пресловутая равноувешенность нарушается, стрелка весов постепенно клонится к... Мало ли способов! Всего проще – ревизия, недостача... в таком хозяйстве всегда сыщется, к чему привязаться. И всё: прости-прощай, мой тарантас...

Леонид Леонидыч вдруг смаху ткнул папиросой в столешницу; спросил – по-новому, бесшабашно, чуть ли не весело даже:

– Так не уйдёшь? Гляди, наставники-то здешние непременно распознают мою науку. Как бы тебе от неё вместо пользы не вышел изрядный вред... Так-таки и не уйдёшь?

Михаил отчаянно замотал головой.

– Ну-ну... – всеевропейски-знаменитый завхоз уже пристраивал на бесформенном лиловом носу старорежимное пенсне в золотой оправе. – Чур только, впоследствии не пенять...

Леонид Леонидыч рассматривал Михайлов рисунок отнюдь не так долго, как хотелось бы автору. Глянул на расстоянии вытянутой руки, крутанул так и этак (даже вверх ногами зачем-то), потом поднес к самому лицу, будто бы собираясь лизнуть... А потом бережно уложил на стол и вскинул задумчивый взгляд куда-то поверх Мечниковской макушки.

Лишь когда изнывающий от нетерпенья студент отважился напомнить о себе деликатным покашливанием, достояние всеевропейской культуры нехотя разлепило толстые губы.

– Что ж, отменно, – Леонид Леонидыч снял пенсне (этаким торжественно-неторопливым манером обнажают головы на похоронах). – Отменно испорченный лист ватманской бумаги. Нет уж, молодой человек, помалкивайте. Пришли за мнением и советом, так будьте любезны выслушать. А от споров увольте: мне-то ваше мнение о сём шедевре до лампочки. Так что или уши нараспашку, а рот на замок, или... – завхоз выпростал указующий перст по направлению к двери.

Михаил мгновенно (хоть и не без труда) изобразил безропотную готовность слушать.

Опять вытащив кисет, Леонид Леонидыч принялся сооружать нечто скорей уж не папиросо-, а сигарообразное. И заговорил – рассеянно, вроде бы не вполне к месту:

– Видали, конечно, памятник товарищу Свердлову на Мясницкой... то бишь на Баррикадной? Задумано было сносно: человек, шагающий наперекор встречному урагану. А какое впечатление производит? Особенно ежели учесть, что в двух десятках сажен позади – винная лавка с распивочной...

Действительный член нескольких заграничных академий фыркнул, с внезапною нешутливой злобой отшвырнул почти уже готовую папиросу и начал скручивать новую.

– Вы поймите, юноша, – цедил он, сосредоточенно наблюдая за шевелением своих пальцев, – поймите: художество – это не изобразить, к примеру, человека в полном соответствии со всеми законами людской анатомии, или пейзаж написать по правилам перспективы, “как настоящий”. Настоящестъ – епархия фотографов. А художник (подлинный художник!) должен, конечно, в совершенстве постичь законы анатомии, перспективы, прочего... Но сие необходимо ему исключительно для разумения, где и насколько следует означенные законы нарушить. Так нарушить, чтоб лучшим образом возбудить задуманное ВПЕЧАТЛЕНИЕ. У Леонардо на “Тайной вечере” под столом ног больше, чем Господом положено иметь тринадцати человекам. Что, по-вашему, да-Винчи не был обучен счёту?! Или, думаете, кто-либо кроме искусство-ве-дов... – это слово лекторствующий завхоз выговорил с непередаваемым, прямо-таки вселенским омерзением, – кто-либо нормальный стал бы утруждаться сочтением ног на Леонардовых фресках?.. Либо убивать время дурацкими измерениями: уж не проломит ли Суриковский Меньшиков головою кровлю, ежели надумает встать?.. Ась?!

Он смолк, всунул в рот своё сорящее махорочной крупкой изделие и принялся яростно ломать спички о коробок. Только тогда Мечникова осенило, наконец, выхватить из кар-

мана коробку “Пушек” и, раскрыв, положить её перед всеевропейски знаменитым завхозом. Тот буркнул что-то неразборчиво-благодарное, однако на настоящие папиросы глянул, лишь сумев-таки раскурить самоделку. Глянул и сказал усмешливо:

– Ишь, чем студенчество балуется! А ещё ноете, будто стипендия ваша нищенская...

– Да я почти что и не курю, – хмыкнул Мечников. – Это так только, для...

– Для форсу перед барышнями? – понимающе перебил Леонид Леонидыч. – Действительно, такой кислятиной только девицам глазки туманить. А настоящее курево должно продирать до самого нутра... до нутра души. Знаете, юноша, где я это понял? Нет? Ничего, вам еще, не ровён час, самому понять доведётся... там же. Особенно, коли возьмёте в привычку якшаться с разными неблагонадёжными. Мне-то выпало всего-навсего в следственной попариться, а вам... типун, конечно, мне на язык...

Завхоз откинулся на спинку вконец изнемогшего кресла и с видимым удовольствием пустил к потолку плотную струю желтой махорочной гари.

– Нуте-с, вернёмся к вашему произведению, – Леонид Леонидыч взял со стола рисунок. – Что мы видим? А вот что: презабавно одетый мужик уныло силится выказать опаску при виде повязанного змеею (этак коробку с пирожными лентой повязывают) черепа кобылы...

– Коня, – мрачно поправил Михаил.

– Это ВЫ, юноша, знаете, что коня. Или Я, посредством нехитрой дедукции, могу разгадать ваш изначальный замысел касательно половой принадлежности данного черепа. Но представьте, что сей шедевр угодит на глаза, скажем, наркому Ворошилову, который вряд ли читывал Александра Сергеевича, способностью к отгадыванию мыслей не обладает, зато обладает колоссальными познаниями в практической гиппологии (хоть словцо сие, коль даже и слыхивал, наверняка почитает экзотическою матерщиной).

Леонид Леонидыч встал и направился к одному из стеллажей.

– Вы уж не взыщите, что столько внимания уделяю такой вроде бы мелочи, – говорил он, роясь на ломящихся от книг полках, – но из совокупности мелочей именно и складывается художественный образ, а образ, говоря по-теперешнему, есть целевая продукция любого изобразительного труда... Ага, вот.

Завхоз вернулся и обрушил на стол тяжеленную подшивку каких-то журналов.

– Вот, извольте полюбопытствовать. Незадолго до революции в “Русском коневодстве” была опубликована статья, напрямую затрагивающая наш с вами сегодняшний вопрос. Автор весьма опытен и компетентен: насколько помнится, он возглавлял ветеринарную службу на конном заводе графа Орлова. Вот здесь приведены великолепные рисунки строения костяков жеребцов и кобыл, причём не только орловцев, но и целого ряда иных пород. Видите? Общие различия тотчас бросаются в глаза. Кобылий череп выглядит заметно более удлинённым за счёт утонченностей вот здесь... и здесь тоже... Всмотритесь хоть в этот изгиб – видите, насколько он плавней, изящнее, чем у жеребца? Так-с, а теперь поглядите на свой рисунок. Ну, видите? Вы, молодой человек, ни к селу, ни к городу пустились в изящные выкрутасы, а потому изобразили череп не то кобылы, не то чрезмерно крупного жеребёнка, не то просто уродца какого-то... Хотя в те древние времена (в отличие от нынешнего лета одна тысяча девятьсот тридцать шестого с Рождества Христова) породы скота еще только формировались, а потому врождённые уродства как правило были проявлениями частичного возврата к образу дикого прародителя – то есть, вероятно, сводились опять-таки к укорочению морды и огрублению челюстного сустава. А у жеребячьего черепа также есть свои характерные особенности: посмотрите вот эти линии, например... опять же неполнозубость... Так что можно со спокойной душой утверждать: череп вы изобразили кобы... коб...

Лицо старого живописца вдруг исказилось нелепо и неприятно, голос надломился, зазвонел бабьими истеричными провизгами:

– ...нельзя! Проснитесь, товарищ лейтенант, вам нельзя же!

* * *

– Ну вот, я так и знала! Всего-то минут пятнадцать без присмотра – и не выдержали. Эх, вы... сильный...

Минут пятнадцать? Всякие твои роскошные переживания, сон этот – всё уложилось в четверть часа? Ну-ну...

– Сами виноваты, товарищ санинструктор! – Михаил силился выморгать из глаз сонную мусть. – Пока о гадостях думал, всё хорошо было; а как по вашему совету вспомнил приятное...

Устроившаяся на корточках возле раненого лейтенанта Вешка зафыркала, как раздраженная кошка:

– Вам хиханьки, да? Хиханьки? Неужели трудно понять, как опасны шутки с рассудком?! Такое может получиться – не приведи, Господи...

– Да вы что, действительно верующая? – улыбнулся Мечников.

Секунду-другую Вешка забавно хмурила брови, похожие на крохотные беличьи хвостики; затем, сообразив, что к чему, аж воздухом подавилась от негодования:

– Та-а-ак... Подслушивали, значит! Комедию, значит, со мной играли! А я-то его жалею!.. А он... Знать вас после этого не хочу!

Санинструктор вскочила, явно вознамерившись уходить. Михаил дёрнулся было ловить её за руку – безуспешно. От резкого движения в лоб ему словно раскалённый костыль вколо-тили, и лейтенант со стоном откинулся обратно, на свёрнутую тючком шинель.

– Это вы взаправду, или опять дурака ломаете?! – грозно спросила Вешка, приостанавливаясь.

– Взаправду, – голосом умирающего произнёс Михаил. И, на секунду замывшись, честно добавил: – Почти.

Поколебавшись, Белкина всё-таки решила вновь опуститься на корточки, однако от Михаила старательно отворачивалась. Сперва ей потребовалось следить, чем занят у противоположного ската овражка “вольноопределяющийся” фельдшер – Вешка даже затеяла подавать старику указания, на которые тот вроде бы не шибко впопад ответил что-то про сопливый нос и необсохшее молоко. Потом, явно сочтя ниже собственного достоинства вступать в пререка-ния с дряхлым спесивцем, Белкина переадресовала своё внимание качающейся над самой её пилоткой ветви боярышника. Внимание это было исключительно пристальным, сосредоточен-ным, и когда санинструктор вдруг заговорила, Мечников лишь ценою изрядного усилия сооб-разил, что обращается она отнюдь не к кусту.

– Притворялся, значит, – тихонько сказала Вешка, трогая кончиком пальца остриё длин-ного корявого шипа. – Подслушивал, подсматривал... И помалкивал. Товарищ старший полит-рук мне чуть не под гимнастёрку лезли, а товарищ лейтенант помалкивали. Эх, вы, сильный...

– Честно говоря, мне казалось, что вам не неприятно... Ну, то есть, что вам нравится... – Михаил очень старался придумать какую-нибудь обходительную формулировку, но в голову нахраписто лезли (и столь же нахраписто рвались с языка) оправдания, подозрительно смахи-вающие на оскорбления.

А потом Вешка искоса глянула на раненого лейтенанта и тут же потупилась, полупросто-нав-полувыдохнув какое-то одинокое слово; Мечников на всякий случай кивнул, а через долю мига после кивка сообразил, что слово это было “дурак”.

Вообще-то санинструктору негоже обзывать дураком среднего командира. Но голос Веш-кин... И то, как она мучительно вывернула шею, пытаясь спрятать от Михаила лицо... И уши её, цветом напоминающие первомайские транспаранты... Похоже, дорогой товарищ Мечни-ков, что несбыточные твои мечты отнюдь не несбыточны.

– Ну, всё! – Белкина снова вскочила. – Некогда мне с вами рассиживаться!

Она торопливо, но очень тщательно заправила под пилотку выбившиеся пряди, затем убила пару секунд на придание скульптурного совершенства расположению гимнастёрочных складок под поясным ремнём, затем (мгновенье проразмышляв) сняла пилотку, устранила какую-то неправильность в причёске, надела пилотку и опять стала тщательно заправлять под неё короткие непослушные волосы... А потом вдруг решительно уселась на поросший реденькой травой песок рядом с Михаилом. И заявила:

– Только не вообразите себе ничего эдакого, понятно?! Вовсе мне не так уж хочется именно с вами возиться; просто нужно ещё раз вас осмотреть.

“Не вообразить эдакого” Михаил согласился беспрекословно. Собственно, по его мнению пищи для воображения ситуация не оставила. Ситуация оставила пищу только для сожалений, типа: “эх, вот бы всё это годом раньше!..” Да, раньше... Не годом, так хоть бы месяцем... А теперь, судя по давешнему Зурабову срыву, как бы не слишком поздно.

Тем временем санинструктор решительно приступила к исполнению своих санинструкторских обязанностей:

– Сядьте прямо. И снимите вашу дурацкую фуражку! Вы в ней только спите, или купаетесь тоже?.. Так, руки перед собой, глаза закрыли, пальцем коснулись кончика носа... Своего носа, своего! Товарищ лейтенант, честное слово сейчас ударю! Так, другой ру... хорошо. Теперь зубы оскальте... Так, теперь язык... Да не оскалить нужно язык, а высунуть... острый-самоучка... Сильней высовывайте... ещё сильней... ого! Так, теперь прижмите подбородок к груди... Э-э, вот только посмейте, как с носом – просто не знаю, что с вами сделаю!!!

Михаил вовсе не собирался позволять себе какие-то чрезмерные вольности, и Вешкино подозрение... нет, не обидело его (лейтенант Мечников, похоже, утратил способность испытывать к рыжей медичке какие либо негативные чувства)... не обидело, но очень удивило. А ещё удивляло раненого лейтенанта то, с какой лёгкостью даётся ему выполнение санинструкторских приказов и собственных неуместных дурачеств. Минут с пяток назад от резкого движения чуть сознание не потерял, а теперь – ишь! Неужели аж так бодряще подействовало недавнее открытие? Или это Вешкина близость столь благотворно влияет? Ведь и раньше... Перевязку (в общем-то немилосердную) вынес даже без ойканья; а до перевязки во-он сколько времени ухитрился лишь ПРИКИДЫВАТЬСЯ беспамятным...

– Ладно, – голос Белкиной (уж чересчур суровый, чтобы действительно казаться таковым) прервал сумбурные Михайловы мысли. – Можете лечь. Кажется, я ошиблась: нет у вас сотрясения.

Она смолкла на миг; потом добавила тоном глубочайшего сожаления:

– Ну и слава Богу.

Мечникову не хотелось ложиться, ему хотелось безотрывно смотреть на свою лекаршу, так забавно и так неубедительно пытающуюся выглядеть сердитой. И ещё ему хотелось (вот, действительно, крайне умное да своевременное желание!) поддразнить Вешку: очень уж это потешно и трогательно, когда уши делаются под цвет червоно-золотым волосам.

– Всё же частовато вы Господа поминаете, – не сумел-таки Михаил удержаться от подначки. – И действительно крестик у вас – вон цепочку видно...

Санинструктор машинально вскинула пальцы к вороту гимнастёрки, который был у неё не по-уставному расстёгнут и вывернут на манер отложного. Мечников собирался ещё высказать предположение насчёт лечения раненых посредством святой воды, но не успел.

Вешка, оказывается, вовсе не застёгивать воротник собралась. Она собралась снять с шеи и показать лейтенанту-насмешнику то, что сперва комполка, а теперь и он посчитали нательным крестиком.

Это была какая-то бляшка, напоминающая старый-старый потемнелый пятак (только толще). Обхлестнув снятую цепочку вокруг запястья, Белкина приблизила нелепую подвеску к самым Мечниковским глазам, и подвеска, чуть отклонившись под ровным нажимом ветра,

секунду-другую будто бы размышляла (стоит – не стоит?), а потом принялась раскачиваться – степенно, не частя, как-то уж слишком увесисто для такой мелковатой вещицы. Раненный лейтенант успел заметить на тёмной то ли бронзе, то ли чёрт знает чём, ещё более тёмные линии схематического скупого рисунка – нечто вроде шестерёнки с вписанной в неё плавной дугой (мельком вспомнилось виденое когда-то изображение солнечного затмения из древне-чужей-то-там летописи)...

В следующий миг вокруг Михаила не стало ничего знакомого, привычного, объяснимого – совсем ничего не стало вокруг. А спустя может, секунду, а может, век, это новоявленное никакое ничто взорвалось, разметалось неохватной ковыльной далью, вспучилось бес-травными крутыми откосами, и тут же придавило это собственное стремление ввысь тяжкой мохнатой твердью оседающего к земле предгрозового ненастья...

Что получилось?

Плоская осенняя степь. Свежий курган, лишь кое-где успевший подёрнуться скудной щетиной запоздалого травяного молодняка. Курган плосковерхий, будто бы впрямь смял ему вершину удар об вислое небесное брюхо – косматое, напряжённое, готовое в мучительной судороге вытолкнуть из себя неистовство какой-то вселенской бури.

А потом на просторной плоской вершине появились ОНИ.

Хлынувший с неба струйчатый вязкий туман мгновенно размыл, изглодал их, превратил в изменчивые плоские силуэты, а они метались, скидывались, сшибались, будто встречные валы двух схлестнувшихся бесноватых штормов... Две гигантские лошадиные тени... Бледно-белесая и угольно-вороняя...

Неподвижный стоялый воздух внезапно и беспричинно ринулся с места вскачь, в оглушительный ураган, изодрал роняемую небом туманную пелену, взорвал-завертел её клочья подобием сумасшедшей пурги... И сквозь мельтешенье бессчётных прорех стремительного туманного месива неистовствующие на кургане силуэты вдруг брызгали то ослепительной белизной (бледный) то воспалённой ржавой багровостью (чёрный)... И уже не понять, сколько их там, на вершине – двое ли, четверо... какие они по правде, какими лишь кажутся...

А вихрь всё креп; под его залихватски-бездумными ударами влётку стлался ковыль, и казалось, что иглистые метёлки сияющей разогнутой травы да летучие ошмётки тумана шепчут-шуршат еле слышно в бесовском вое и хохоте: “Би-и-итва-а-а! Би-и-итва на с-с-самом верху-у-у! Би-и-итва ли-и-и?!.”

“Би-и-итва-а-а!!!” – визжал ураган, расшибая о подножье кургана пласты травяной шкуры, выданные с чёрным мясом земли...

И вдруг всё кончилось. Вихрь, осатанелая пляска туманных хлопьев, рёв да прозрачно-призрачные голоса – всё оборвалось далёкой и злобной вспышкой; и те, вымолачивающие копытами вершину кургана, на миг облеклись подлинными своими цветами – ржавым и безызынно белым... и на миг же плеснулись от них по низкому небу две тени: бледно-белесая (от белого) и чёрная (от ржаво-гнедого)...

И вдруг кончилось ВСЁ.

...Вешка прятала своё достояние на всегдашнее место – полуотворотясь, старательно загораживаясь от Михаила плечом. Похоже, она считала, будто в самом процессе опускания чего-либо за пазуху (даже при наглухо застёгнутых пуговицах) кроется нечто стыдное.

Михаил понимал, что следовало бы ему проявить деликатность... ну хотя бы зажмуриться, если уж ни на какое более существенное движение не находилось то ли сил, то ли чего-то ещё... Одна беда: проку от этого совершенно правильного понимания оказалось ни на жалкую чуть.

Потому, что логичные действия – совершенно не то, чего следует ждать от человека, все свои силы тратающего на малоуспешные попытки выбарахтаться из припадка вязкого, ни с чем мыслимым не сравнимого ужаса.

Дело было не только (да и не столько) в самом видении... хотя вряд ли, ой вряд ли ЭТО было всего-навсего видением.

Дело было ещё и в том, что Михаил без малейших пропусков слышал и запомнил весь рассказ Белкиной о медной кругляшке: что Вешка помнит чёртову висюльку столько же, сколько помнит себя; что, наверное, она – висюлька – имеет какое-то отношение к потерявшейся Вешкиной семье; что многие детдомовцы хранят всякие-разные мелочи – подлинную или мнимую память о ком-нибудь из всамделишных либо выдуманных родных (ну, положим, о таких делах Мечников и сам преотличнейше знает)... Получается, Михаил одновременно был и тут, слушая Вешку, и там, в невесту какой степи с бурей, курганом, кошмарными лошадьми... А может быть, паморочливое наваждение, окончившись, вплюнуло свою жертву в ту же самую долю секунды, из которой и выхватило, так что Мечников совсем ничего не потерял ЗДЕСЬ, успев при этом побывать ТАМ... Где, где ТАМ?! Господи!!!

А санинструктор, завершив упрятывание своей фамильной реликвии, поднялась на ноги и выговорила – хрипловато, сумрачно, глядя куда-то в сторону:

– Ладно, пойду. А вы всё-таки не спите, пожалуйста...

Она отступила всего лишь на шаг-другой, но Михаилу внезапно примерещилось, будто фигурка Белкиной как-то мгновенно посмутнела и сделалась крохотной-крохотной – словно бы оказалась вдруг в дальней дали, у невозможным образом открывшегося зрению горизонта, и горизонт вместе с нею уходит, уходит, уходит, как он имеет привычку уходить от гонящегося за ним человека... Только ведь человек (Михаил то есть) даже не собирался вспугивать горизонт, гнаться за ним; человека вновь обездвижила млостная одурь предобморочья. Обездвижила. Распяла на боровом малотравном песке. И не спеша, спокойно, со тщанием принялась выворачивать наизнанку.

А потом Вешкина крохотная фигурка вскинула руку к груди, туда, где сердце (и где скрытая гимнастёрочной тканью медяшка-подвеска). Простояв так не дольше секунды, девушка шагнула обратно, к Михаилу, единым махом покрыв втиснувшуюся меж ними бескрайность. И тут же, пряча с глаз горизонт, расписным театральным занавесом обрушился за девичьей спиной мотаемый ветром сосновый мачтовый лес; и тут же схлынуло, отпустило раненого лейтенанта тошнотворное парализующее бессилие...

Слушай, лейтенант, неужели тебе впрямь становится лучше, когда она рядом? Она... Вешка? Или её медяшка? Го-осподи!!!

Остановившись рядом с Михаилом, Белкина торопливо расстегнула воротник, завозилась со следующей пуговицей... Куда только сгинула давешняя девическая сверхстыдливость! Пуговица, наконец, уступила неловким от суетливости пальцам; потом уступила еще одна; в вырезе нательной рубахи блеснула заповедной белизной ложбинка меж основаниями двух невысоких, но крепких холмиков...

– Вот! – Вешка сдёрнула с себя фамильную реликвию (именно сдернула, порвав казавшуюся довольно-таки прочной цепочку) и принялась торопливо заталкивать сдёрнутое Михаилу в нагрудный карман. – Пусть у тебя...

И хоть лейтенанту пришлось прямо-таки упереться взглядом в помутнелую синеву глаз наклонившейся Вешки, он – лейтенант – не удосужился заметить, что синева эта именно помутнелая, что глаза у девушки нечеловечески округлились, что сделались они какими-то отстранёнными, шалыми, “не от мира сего”... Оно понятно: как тут было что-нибудь замечать после услышанного “у ТЕБЯ”? Значит, уже на “ты”... Значит...

Между тем санинструктор выпрямилась, забавно свела к переносице рыжие хвостишки бровей, словно бы пытаясь сообразить, что же это она сделала пару секунд назад. Что и зачем.

– Ладно... – по голосу и растерянному выражению лица Белкиной чувствовалось: “что” она, кажется, вспомнила, а вот “зачем” – это вряд ли.

– Ладно, я пошла. Дел очень много, – Вешка зашмыгала носом, сразу сделавшись просто-таки неприлично похожей на доблестного командира партизанской разведки. – Караваев у меня очень мучится. Множественное осколочное в живот... Плачет и всё время зовёт, чтоб сидела с ним: говорит, на жену похожа... А как присяду, начинает о яде... Или чтоб наган у тебя выпросила...

Радоваться, слушая такие слова – скотство; но тем не менее Мечников, к стыду своему, именно обрадовался. Хоть рыженькая санинструктор пару минут назад была вроде как пьяная, а сейчас словно бы протрезвела, но протрезвление это не затронуло перехода на “ты”. Михаил стал торопливо придумывать, что бы такое сказать Вешке и при этом вроде бы невзначай тоже ей “тыкнуть” – для окончательной проверки, а то мало ли... Раз уж пошли твориться всевозможные совершенно необъяснимые... чёрт знает, как и назвать-то... в общем, ни во что сейчас нельзя верить с первого раза.

Выдумать что-либо путное лейтенант Мечников не успел: помешали.

– К Караваеву ходить боле не надобно, – проскрипел рядом ворчливый старческий голос. – Преставился Караваев.

Михаил отвалился от своей импровизированной подушки, сел прямо (резко, будто подброшенный, но рана почему-то забыла среагировать).

Это был фельдшер. Причём вовсе не обязательно он подал голос сразу же, как только подошёл; может, уже долгонько стоял рядом да смотрел-слушал, пользуясь тем, что лейтенант с санинструктором напроочь забыли об окружающих.

Вешка, наверное, тоже заподозрила старичка в свинской бестактности. Во всяком случае, девушка полоснула его таким взглядом, что даже Мечникову сделалось жутко. Правда, она тут же потупилась... и словно бы впервые увидела, что гимнастёрка на ней расхристана едва ли не до самого пояса. С заполошным писком Вешка развернулась к фельдшеру спиной и зашпешила устранять непорядок в обмундировании. От ушей её, наверное, можно было бы прикурить.

А фельдшер говорил, как ни в чём ни бывало:

– Слышь, дочка... Мы тут с ранетыми помитинговали да вынесли резолюцию: ты нам покудова не нужная. Считай себя в увольнении. Думается, коль без понуканий, то вы двое так и будете страдать да воздыхать тишком друг от дружки. А времени на деликатные канители у вас боле нету. Я этого грузинца, командира вашего, недолгое время знаю, и то... Вот как он полез к тебе очертя голову, мне сразу подумалось: он до завтрава дожить не надеется. И что мы все доживём – тоже... Так что милуйтесь, пользуйтесь остатней минуткой.

Старик замылся на миг, а потом, придвинувшись к Михаилу, шепнул доверительно:

– Только вам, товарищ лейтенант, для разговоров да целования её б в сторонку отвести. А то кой-кого из армейцев хуже ранений мучают завидки.

3

– ...а я тогда была ещё рыжее, чем сейчас; тощая-тощая была и такая длинная, что они сперва решили, будто мне аж семь. И распределили в колонию для умственно-отсталых. Недели только через две разобрались, перенаправили. Вот... А в деткомунне тогда комиссарил бывший боцман. Увидал он меня, и говорит: “Ишь, какой огонёк на шестке – прям те фарватерная вешка!” Так меня Вешкой и записали. А про Великую Школу уже потом придумали – для какой-то комиссии, что ли...

Ни в какую особенную сторонку Михаил с Белкиной не ушли, а только выбрались из овражка и уселись над самым откосом, по обратную сторону раскидистого боярышника. И ни о каком особом “милованыи” друг другом тоже речи быть не могло.

Михаилу казалось, что Вешка то ли не расслышала, то ли умудрилась не понять фельдшерскую обмолвку про “остатние минутки”. Но если теперь лейтенант Мечников позволит себе что-нибудь повольнее душевного разговора да бережного обниманья за плечи, девушка уж непременно догадается... А это не нужно. Никому не будет никакой пользы, если ещё и Вешка станет маяться предчувствием скорой гибели.

Ещё и Вешка... Нет, “ещё и” – это неправильные слова. Михаил, к своему изрядному удивлению, предчувствиями отнюдь не маялся. То есть он не предчувствовал, а был совершенно уверен, что ближайшее будущее остатков шестьдесят третьего полка определено поговоркой “сколько верёвочке ни виться...”, но уверенность эта отнюдь не мучила раненого лейтенанта. Может быть, потому, что за время наступления (именно так: наступления из немецкого тыла к линии фронта) полк успел взять за себя отменно дорогую цену; или, может быть, потому, что Михаила вообще перестало интересовать всё, кроме внезапно открывшейся Вешкиной к нему особой приязни; или, может быть, потому, что таким вот странным образом сказывался изрядный удар по голове...

Всё может быть. Даже то, чего по Михайлову твёрдому атеистическому убеждению быть не могло и не может никогда и ни с кем. Лейтенанта не встревожила даже собственная нелепобезмятежная мысль о том, что дела нынче пошли определённо колдовские, потусторонние – мысль, которая просто обязана была встревожить именно этой нелепой своей безмятежностью.

Однажды – давным-давно – так уже было с ним.

У него ведь, как и у Вешки, тоже была своя, всеми правдами и неправдами хранимая “фамильная драгоценность”... Впрочем, Михаил и сам-то уже не помнил, впрямь ли его драгоценность была фамильной, или он попросту украл эту штуку, нашел, выиграл, отнял – мало ли как попадают к беспризорной шпане всякие этакие безделки! А сохранил её потому, что понравилась, потому что пацан, которому предстояло захотеть стать настоящим художником, не мог расстаться с подобной красотой даже ради каких-нибудь беспризорничьих роскошеств. Да, вот так: украл, нашел, выиграл, отнял... хранил... И, храня, сам же себя приучил верить, будто бы это последний осколок того хорошего, которое когда-то было... А раз было, то, может, еще когда-нибудь будет...

Задним числом Михаил понимал: только каким-то чудом ему удалось сберечь это свое достояние, протащить “во время оно” через всевозможные допры, санпропускники, распределители, фильтры-приёмники... Наверное, помогало то, что и сам беспризорный Миха, и все, с кем ему приходилось иметь дело, твёрдо знали, как выглядят драгоценные камни – маленькие сверкающие многогранники, которые женщины носят в ушах и на пальцах.

Мишка Мечников успел дожить до пятинадцатилетия, прежде чем нарвался-таки на подлинного знатока. Знаток был сыном ювелира. Ювелиру в силу некоторых обстоятельств пришлось переселиться на Соловки, а потому ювелирскому отпрыску пришлось переселиться в детский дом. Чёрт его, отпрыска этого, знает, как он пронюхал о Михайловом достоянии и

почему заподозрил поживу; но вот пронюхал же как-то, и заподозрил, и с таким великолепным равнодушием в голосе попросил показать, что развесистый лопух Миха...

Через день ювелирский сынок исчез, и Михайлова драгоценность исчезла тоже. А ещё через пару дней в детском доме появился следователь. Беседовал он только с директором да парой воспитателей, а воспитанникам, собственно говоря, никто не объяснял, что этот визитёр штатской наружности – именно следователь и именно из уголовки. Но воспитанники в большинстве своём были детишками тёртыми, умели без запинки произносить выраженьица вроде “уголовно-процессуальное делопроизводство” и “атанда, урки, шухер на бану!”, а потому ни в чьих специальных объяснениях не нуждались.

Следователь ещё не успел выйти из директорского кабинета, а детдомовцы уже шушукались о том, что беглый отпрыск ювелира вчера найден мёртвым неподалёку от торговых рядов. “Знаешь пивной ресторан товарищества гужевилов? Там рядом ещё подворотня – ну, где в запрошлом году Сохатый порезал Гуню Барбоса? Вот в ней и нашли. Его из шпаллера: впаляли блямбу под сердце да еще третью зенку провертели (небось, уже конченому – для верности). Фраерская работа: с шумом, и бросили по-глупому. Деловые бы надели на перо втихую, камень к ногам – да в Прудянку. Чтоб ни звону, ни вони... А это, небось, батянины подельники решили ему пасть заколотить – побоялись, что по сопливости болтнёт лишнего. И за какой же холерой его, дурня, к ним поволокло?”

Да, уж “за какой холерой” – это мог более ли менее точно разгадать один Михаил. Ювелирский дурень-сынок пытался продать украденное у него, Михаила.

И вот ведь странно: к тогдашней, казалось бы, безвозвратной пропаже Мишка Мечников остался непробиваемо равнодушен. Почему? Да потому, что ни на секунду не усомнился: беда поправима. Причём эта его нелепая железная вера – отнюдь не самое странное в тогдашних делах.

Несколько дней спустя обокраденному Мишке выпал случай безнадзорно пошляться по городу.

Случаем Мишка, естественно, воспользовался.

Ноги несли вырвавшегося на волю детдомовца какими-то малознакомыми улочками; под рваными ботинками чавкала унавоженная дрянная слякоть; усталое серое небо так и норовило прилечь на мокрые крыши... Чёрт его помнит, осень тогда была или ранняя болезненная весна – во всяком случае, Михаил довольно быстро продрог и совсем уже решил плынуть на всём да возвращаться в наробразовские пенаты, как вдруг...

Крохотная площадь с коновязью и водопойной колодой. На здании, гораздо менее задрипанном, чем соседние, вывеска: “Пивной ресторан”. А неподалёку – чёрный распахнутый зев подворотни. Той самой, где какой-то Сохатый пырнул ножом какого-то Гуню. Той самой, где...

Не отрывая заляклого взгляда от подворотенной черноты, детдомовец Мечников по кличке “Миха” сперва просто торчал посреди площади; затем по-крабьи, бочком передвинулся, слепо прощупывая воздух вытянутой рукой... Дрожащие от зябкости да напряжения пальцы больно чиркнули о коновязное бревно, и Михаил, так и не обернувшись, зашарил по мёрзлому дереву, норовя определить, можно ли на него сесть или только облокотиться. Какая-то старуха, проходя, засокрушалась вслух:

– Ай-яй, бедняжка убогий...

Михаил понял, что прохожие действительно принимают его за слепого. А еще он, наконец, сообразил удивиться. Как, как всё это получается? Ноги САМИ нашли дорогу (причём, кажется, кратчайшую) туда, где он никогда в жизни не бывал; тело САМО, без малейшего участия разума скрючивает себя в дурацкой позе, будто бы пытаюсь вдавиться рёбрами в заеложное тысячами уздечек бревно; взгляд САМ категорически не желает отклеиваться от замусоренного зева чёртовой подворотни... Да-да, всё это лишь удивило, хотя, казалось бы, должно было нешуточно испугать.

А миг спустя даже это слабоватое удивленье пропало.

Миг спустя моросная серость неба вдруг решила порваться; шалеющий от внезапной воли солнечный луч наискось резанул площадь, вломился в подворотню, до того мига казавшуюся угольным пятном на грязно-рыжей кирпичной кладке... И там, в мгновенно провалившейся внутрь себя темной глубине вспыхнула алая живая звезда. Звезда, которую Михаил, стоя в другом месте или в иной позе, совершенно точно бы не заметил. И полезь он сходу туда, в подворотню, искать – даже если бы несколько дней кряду гребся там в мусоре, как курица – всё равно наверняка ему не найти бы свою пропавшую драгоценность. А так...

Все случившиеся тогда чудеса почему-то воспринялись детдомовцем Мечниковым совершенно как должное и даже ни на миллиметр не поколебали его чугунный атеизм.

Кстати сказать, вечером того же дня случилось ещё одно чудо: Мишка Мечников написал то ли длиннее стихотворение, то ли коротенькую поэму. Написал в единый присест. Залпом. Запоем. Это событие Михаил тоже совершенно спокойно воспринял, как нечто само собой разумеющееся – хоть напрочь не понял ни идеи, ни смысла своего же собственного произведения; хоть прекрасно отдавал себе отчёт, что ну никак не может человек в его возрасте написать такие стихи (тем более, что ни до, ни после человек этот не срифмовал и двух строчек)...

...Да, тогдашнее непробиваемое спокойствие юного детдомовца Мехи и теперешнее состояние лейтенанта Мечникова друг дружке явно сродни. Придя к такому выводу, Михаил вдруг подумал, что нужно вот прямо теперь же, без малейшего промедления переложить свою и Вешкины “семейные реликвии” так, чтоб они друг друга касались. Мысль эта была столь же властной, сколь и по-дурацки несообразной, но осуществить её лейтенанту не удалось.

Белкина, довольно долго уже молчавшая, сбила его внезапным вопросом:

– Слушай, а чего это старший политрук с тобой заедается? Вы ж, вроде, до войны были неразлей-вода...

Несколько мгновений Мечников раздумывал, стоит ли отвечать, а если стоит, то нужно ли отвечать правду.

– Ну, неразлей-вода – это уж слишком, – проворчал он, наконец. – Так, приятельствовались... А заедаться Зураб стал после того, как одна сука во плоти красноармейца втихаря обшарила мою полевую сумку, нашла там листок со стихами, прочла, ничего не поняла... – Михаил примолк на мгновение, с видимым усилием перевёл дух. – В общем, особого отдела в полку тогда уже не было, а старший политрук Ниношвили тоже предпочёл заподозрить в этой писанине двусмысленность, которая там и близко не ночевала.

Как ни странно, Вешка вполне удовлетворилась таким ответом. Во всяком случае новых вопросов она не задавала.

– Знаешь, – санинструктор задумчиво следила за летящими в вышине пуховыми хлопьями облаков, – он вот когда недавно сказал, будто тебе скоро будет полный покой, я даже испугалась, что он тебя расстреливать собирается. А он, оказывается, это про всех нас так сказал...

Михаил чуть ли не до крови закусил губу. Вот, значит, как... Всё она, значит, расслышала и всё поняла. Просто выдержка у неё, оказывается, такая, что любому мужику впору...

А вслух сказать он ничего не успел, и даже обнять её – крепко, по настоящему – не успел тоже. Из госпитального овражка донеслось приближающееся буханье кирзачей по плотному слежавшемуся песку и кто-то громко зачастил, давясь сорванным от спешки дыханием:

– Где товарищ лейтенант?! Товарища лейтенанта товарищ комполка требует! Велел: “Хоть ползком, хоть на носилках, но чтоб немедленно в штаб!”

Вот и всё. Так и не сумел ты, товарищ лейтенант, воспользоваться добротой мудрого старичка-фельдшера да “ранетых армейцев”. И сам напоследнюю свою возможность упустил, и Вешку обездолил по-подлому, может быть единственной за всю её жизнь счастливой

минуты лишил. Что ж, народ – он не с дуба спрыгнул, он правильно говорит: “Пьяный проспится, дурак – никогда”.

* * *

Зураб Ниношвили сидел на корточках перед своим драгоценным сейфом и торопливо писал что-то красным карандашом в мятой замызганной ученической тетради. Михаила с его “прибыл по вашему приказанию” он сперва удостоил лишь коротким кивком и только через пару минут, не отрываясь от писанины, разлепил губы для рассеянного:

– Поправился, да? Ну, садись... э-э-э... где-нибудь. Я быстро.

Лейтенант Мечников с неудовольствием оглядел штабные пародии на сиденья, подумал, что и.о. комполка поступил очень умно, предпочтя этим сооружениям корточки... Но воинский долг и присяга требуют беспрекословно выполнять приказания командиров и начальников. Не щадя крови и самой жизни. Значит, то место, которое может пострадать от сидения на охапке сучковатых веток, щадить тем более не приходится.

Между тем Ниношвили захлопнул свою тетрадку, встал и по-первоклашечьи потряхнул растопыренной пятернёй: “Мы писали, мы писали, наши пальчики устали...” А потом спросил:

– Как проще всего разрушить понтонный мост, слушай?

Всю дорогу от госпитального овражка до штабной ямы Михаил уговаривал себя не возобновлять утренний спор с Зурабом и вообще руководствоваться принципом “я прокукарекал, а там хоть не рассветай”. Уговаривал и уговорил-таки. Но теперь, когда дошло до дела... Может, так повлиял на него Зурабов почти дружелюбный тон, или внеуставное “слушай”...

– Т-т... товарищ комполка... – в последний миг лейтенант всё же успел прикусить язык и заменить едва не вырвавшееся “ты” на официальное обращение, пишущееся с той же буквы. – Вы всё-таки решили переть на рожон?

Дружелюбие старшего политрука мгновенно обледелено:

– Лейтенант Мечников, потрудитесь держать себя согласно уставу!

Демонстративно глядя поверх Михайловой головы, Ниношвили уселся на несгораемый шкаф. Снял фуражку. Вытащил из кармана не шибко чистый носовой платок и принялся утирать лицо. Лишь завершив все эти нарочито медлительные эволюции, произнёс:

– Я жду ответ, товарищ лейтенант.

Товарищ лейтенант, вздохнув, принялся терпеливо объяснять, что понтонный мост вопреки кажущейся своей хлипкости – самый трудноуязвимый тип переправ; что всерьёз вывести его из строя можно лишь несколькими мощными зарядами, заложенными через равные промежутки по всей длине; что легче всего попросту разрушить скрепы между понтонами возле берега и где-нибудь ближе к середине: тогда течение само вырвет кусок моста, но переправляющаяся техника при этом мало пострадает, а восстановление переправы не потребует от немцев ни особых усилий, ни особого времени.

А старший политрук продолжал рассеянно мусолить платком свои бритые щеки. Фуражку он уронил рядом с собою – та упала на облупленную сталь сейфа тульей книзу, и Мечникову внезапно и невыносимо захотелось вбросить в Зурабов головной убор пару-тройку мелких монет. Да ещё и сказать при этом что-нибудь из расхожих фразочек, под которые старушки-богомолки одаривают медяками папертных нищих. Михаил ярко, во всех подробностях представил себе реакцию командира полка на подобную выходку и тут же старательно закашлялся, неуклюже маскируя рванувшее на волю хихиканье.

– Что веселого нашёл, а? – осведомился Ниношвили. – Расскажи, вместе веселиться будем!

Несколько мгновений он царапал лейтенанта Мечникова неприязненным взглядом, потом вдруг рывкнул:

– Балабанов, ко мне!

Из-за штабного навеса вынырнул Зурабов ординарец сержант Балабанов – личность, умеющая с одинаковой ловкостью как превращаться в человека-невидимку, так и моментально возникать из пустоты по первому зову старшего политрука.

– Скажи тем, кто пленного охраняет – пусть приведут, – велел Ниношвили, и сержант Балабанов пропал.

А комполка опять хмуро скосился на Михаила, который все еще изнемогал в тяжелой борьбе с непрошеной и неуместной веселостью.

– Нервы, да? – буркнул Зураб полусочувственно, полупренебрежительно. – А еще называешься командиром! Цхэ! – Старший политрук отвернулся, затеял какую-то возню со своим левым рукавом. – Чем киснуть, как припадочная девица, лучше б помог. Мучение, понимаешь – отваливается и отваливается...

Всё еще похихикивая, Мечников дисциплинированно отправился помогать начальству.

Оказывается, Зураб возился с нашивкой – с той самой, которую так неправдоподобно удачно нашел взамен своей утерянной, потом тоже посеял, а теперь вот неожиданно снова нашёл. Возня заключалась в стараниях наскоро приметать к рукаву рыже-бурую, словно бы опаленную матерчатую звезду. Старания были безуспешными, и Мечниковская помощь ситуацию не спасла.

– Бред какой-то! – пыхтел старший политрук, злобно дергая застрявшую в ткани толстенную цыганскую иглу. – Когда прошлый раз ее нашел, слушай, терновым шипом приколот, и нормально. А тут... Еле-еле воткнулось самое острое – и намертво, ни туда, ни сюда... Как получилось, а?

Мечников тоже попробовал – сначала “туда”, затем “сюда”... И тоже без толку. Мельком вспомнилась слышанная когда-то побрехенька о разновидности нечистой силы, которая терновых колючек то ли боится, то ли наоборот... А еще вдруг тревожно засадила Михайлово сердце внезапная уверенность, будто именно теперь нужнее всего соединить свою заветную ценность и подвеску, даренную Вешкой – именно вот теперь же, потому что через минуту станет поздно.

В следующее мгновение оба командира напрочь забыли о борьбе с иглой-саботажницей. Забыли потому, что вернулся Балабанов. Он тяжело дышал; лицо его цветом и стылостью походило на пыльную гипсовую маску; выпученные глаза превратились в мутные бессмысленные стекляшки...

– Тов... тов-варищ к-ком-полка... – Балабанов не говорил, а захлебывался словами – наверное от того, что пытался выговаривать их не по-нормальному, а на вдохах. – Там... там...

И тыкал дрожащим оттопыренным пальцем куда-то себе за спину.

* * *

Вокруг места происшествия – небольшой полянки в зарослях боярышника – уже столпилось десятка два любопытствующих. Толпились они странно: молчком и именно ВОКРУГ, старательно вминаясь плечами да спинами в колючий кустарник; явно опасаясь сделать хоть шаг туда, на бестравную песчаную плешь, посреди которой торчала одинокая сосенка.

К этой-то сосенке утром и привязали пленного ганса. Усадили спиной к стволу, завели руки назад по обе стороны липкого, шелушащегося темно-янтарной корою дерева и спутали запястья – не туго, но крепко, как коням передние ноги спутывают. В общем, хорошо привязали. Без лишней жестокости, однако же поди-ка рыпнись в таком положении! Еще и двое караульных рядом...

Да уж, двое...

Караульные по-прежнему были здесь.

Один из них лежал на спине, нелепо вздернув щетинистый подбородок. Его заплывшая кровью шея показалась Михаилу не по-человечьи тонкой, неправильной какой-то. Лишь через пару мгновений лейтенант доморгался-таки до причины этой кажущейся неправильности и торопливо отвел взгляд, еле сдерживая накотившую тошноту.

Второй караульный – боец Голубев – валялся по другую сторону от раскачивающейся под ветряными порывами сосенки.

А вот немца на поляне не оказалось.

Замерший было рядом с Мечниковым старший политрук очнулся от столбняка гораздо быстрее Михаила.

– Кто-нибудь может сказать, что здесь?..

Договорить Зурабу не дала бесцеремонно пропихавшаяся между ним и лейтенантом Вешка. Буркнув “извините” тоном, каким обычно произносят что-нибудь вроде “ишь, раззявы, офонарели на самой дороге!”, она в два шага оказалась рядом с истекающим кровью караульным, но, едва глянув на него, метнулась дальше, к Голубеву.

– Этот жив, – санинструктор опустилась на колени и вдруг, примерившись, закатила беспамятному бойцу неслабую оплеуху.

Голубев застонал, дернулся.

– Живехонек, – удовлетворенно повторила Вешка. – Кто-нибудь, помогите ему сесть.

– Что с ним? – угрюмо спросил Зураб.

– Обморок, – Белкина торопливо расстегивала Голубевский воротник. – Сейчас придет в себя.

– Ну так всё-таки, может мне кто-нибудь... – Ниношвили попытался вновь повторить недоспрошенное, и вновь же ему не дали закончить.

С диким пронзительным воплем красноармеец Голубев отшвырнул санинструктора, вскочил и, не разбирая дороги, кинулся наутек... то есть попробовал кинуться наутек. Продолжая вопить, он слепо врзался в кого-то из окружавших полянку.

Дальнейшего Михаил не видел, потому что рванулся к ударившейся о сосновый стол Вешке. Не видел, но слышал. Слышал, как Голубевскому ору принялся вторить еще кто-то – очевидно, вдавненный в колючие заросли; как там, в зарослях, взбурлило стремительное многоногое топотание; как старший политрук рявкнул: “Да заткните же ему пасть!”, и Голубевские вопли моментально обрубались задавленным натужным мычанием – кажется, приказ был воспринят буквально.

Белкина отстрадалась от внезапной передрыги несколькими царапинами да неопасным ушибом. Пока Мечников помогал ей встать и наскоро удостоверивался, что ушиб действительно не опасен, а царапины – действительно всего-навсего царапины, свихнувшегося бойца Голубева успели более ли менее привести в чувство. Во всяком случае, боец этот перестал рваться в бега и уже кое-как отвечал на нетерпеливые вопросы Зураба. Правда, уразуметь хоть что-нибудь из Голубевских ответов было сложно. И не только потому, что боец заикался, всхлипывал и так стучал зубами, что беспрерывно прикусывал язык. Даже когда его слова удавалось разобрать, смысл разобранный казался чем угодно, кроме именно смысла. Получалось, будто бы всё здесь на полянке было тихо и мирно, пока Голубев не решился отойти для короткой надобности. Он несколько раз подчеркнул, что пост свой не покинул ни на секунду – даже для пресловутой надобности в кусты не полез, а только отошел на край полянки да повернулся к напарнику и немцу спиной. Но почти сразу же услышал позади странный звук, оглянулся и увидел, что второму караульному вцепился в горло огромный волчина.

– Вот т-т-таке-енный, – бормотал Голубев, дергая трясущейся рукой метрах в полтора от земли. – Ей-бо, вот т-такеннейший! Рыж-жий т-такой, прям даже красный, и зуб-бы медные. А вместо глаз жари-инки. С пятак. И ч-ч-чадят. Вот ей-бо, чадят, как угли в костре!

Больше он ничего не помнил – ни как исчез пленный ганс, ни куда подевалось оружие самого Голубева и Голубевского напарника.

Дело пахло нешуточной паникой. Мнущиеся вокруг полянки красноармейцы в большинстве своём всё активнее проявляли желание убраться куда-нибудь как можно дальше – повальное бегство сдерживали (ПОКА ЕЩЕ сдерживали) теснота да неприкрытая боязнь отлепиться от колючей кустарниковой стены и ступить хоть на шаг ближе к середине бестравной проплешины.

Кто-то бормотал: “Точно! Я своими ушами слышал рыканье. А Фадеев видел, как отсюда выскочило громадное, рыжее... А, Фадеев?”; кто-то (причём не сказать, чтобы из пожилых) крестился, немо да истово шевеля губами; кто-то подталкивал соседей локтями, спрашивал с лихорадочною надеждой: “Врёт ведь, правда? Он же всё врёт! Правда?” – но соседи лишь досадливо матерились в ответ...

Солдаты, научившиеся не бледнеть от истошно-истеричного “Та-а-анки-и!!!” и способные выдержать многочасовой миномётно-пулемётный обстрел (который, пожалуй, страшнее, чем даже прицельная бомбёжка); бойцы, по приказу braveго героя Гражданской войны дисциплинированно поднимавшиеся в штыковую на немецкие танкеры...

Но вот теперь...

Что-то кем-то мельком увиденное... Невнятный слушок, со скоростью радиоволн разнесённый по лагерю беспроволочным солдатским телеграфом конструкции Звонарёва-Брехальского (единственный вид связи в РККА, безотказно действующий с первых минут войны), а потом – малоразборчивое бляенье, насилию продавившееся сквозь лязг зубов ошалелого паникёра... Лишь намёк на какую-то сверхъестественность – и всё. Отвага, испытанная многожды и через всякую меру, сгинула без следа.

Никакие уговоры не помогут – логика против такого бессильна. И чёрт знает, как их теперь успокаивать. Тут бы крепко раскинуть умом, чтоб без ошибки, чтобы наверняка да сразу, но умом раскидывать некогда: в любую секунду, стоит лишь кому-нибудь матюкнуться громче прежнего или хоть просто чихнуть – и готово дело. Причём каким оно окажется, дело-то, совершенно невозможно предсказать наперед. Свихнувшаяся с катушек толпа, да еще и вооруженная – поди угадай, во что это выльется!

– Оказывается, ни на хрен собачий ты, Голубев, не годишься, – сказал вдруг Ниношвили со спокойной жесткой усмешечкой. – Вот у нас в селе был пастух, дядя Андроник, так он, когда трёх баранов потерял, такого наплёл – упасть и на лету умереть, да! Бандиты, диверсанты на парашютах, какая-то обезьяна с человека ростом... Получалось, дядю Андроника не ругать надо, что потерял трёх баранов, а представить к ордену – за то, что остальных уберёг. Так врал – из соседних сёл приходили слушать. Даже из Поти человек приехал, всё записал. Правда, с этим городским вышла ошибка: думали, он из газеты, а оказалось, из прокуратуры, да... Вот как надо врать, Голубев! А у тебя воображения совсем столько, сколько ума. То есть нету. Цхэ!

Голубев пытался было что-то сказать, но старший политрук перебил:

– Да застегни, наконец, мотню, шени мама! Оно конечно, твой стручок без бинокля не разглядишь, но порядок в обмундировании должен быть, нет?!

Слава богу, кто-то всё же хихикнул.

А когда боец Голубев, лицо которого мгновенно сменило контр-революционную белизну на цвет Рабоче-крестьянской армии, запутался трясущимися пальцами в шириночных петлях-пуговицах, разрозненное хихиканье переросло в смех – сдержанный, вымученный, но всё-таки настоящий.

Не успел Мечников подумать, какой Зураб молодец и до чего же удачно вышло, что ответственность за остатки шестьдесят третьего отдельного взвалил на себя старший политрук Ниношвили, а не кто-нибудь из тогда ещё живых строевых командиров... То есть нет, лейтенант Мечников как раз успел подумать обо всём этом. И ещё Михаил успел подумать, что сам

он по сравнению с Зурабом не командир, а так – лучший сапёр среди живописцев и лучший живописец среди сапёров.

Белкина тоже кое-что успела. Пока несчастный красноармеец Голубев приводил “нижний воротничок” в соответствие с требованиями устава, Вешка внимательно оглядела поляну, а потом вдруг больно прихватила Мечникова за руку и поволокла в сторонку – составлять компанию тем, кто изображал собственные барельефы на сплошной стене колючих кустов.

Михаил упёрся – сперва просто от неожиданности, но через миг, проследив направление взгляда распахнувшихся на пол-лица санинструкторских глаз, разом понял всё: и солдатскую опаску перед серединой треклятого песчаного лишая, и причину едва не заварившейся паники (впрочем, “едва не” – это ещё вилами на воде намалёвано)... Понял, поскольку разглядел, наконец, то, что кадровый военный с тренированной наблюдательностью художника и минёра обязан был заметить, только-только ступив на поляну. А вот каждый из некадровых и не всё-такое-прочее бойцов, похоже, усматривал это моментально, именно “только-только ступив на”.

Следы.

Кроме сапог отечественного да германского образца здешний песок обильно истоптали ещё и лапы. Очень крупные. С вот такими когтями. Причём немецкие рубчатые подошвы на полянку вроде бы только вошли, а когтистые лапы вроде бы только вышли. Может, конечно, выходной след первых и входной вторых просто оказались затоптанными, а может...

Как это по-ихнему, по-германски – вервольф?

Вагнер, “Кольцо небелунгов”, языческая символика... берлинская академия оккультных наук... буквально навязанный в пленные эсэсовец оборачивается волком...

И тут же, словно подслушав лихорадочную бессвязицу Михайловых мыслей, плаксиво закричал Голубев:

– Да не вру я!!! Вы это... Вы следы гляньте! А когда я обернулся, ганса не было, только волк!!!

– Заткнись, идиот! – На сей раз лейтенант Мечников среагировал раньше Зураба. – Мы же с тобой вместе видели волка. Несколько раз, ночью. Забыл? И когда пленного уже захватили – тоже видели. Чего башкой трясёшь, ты, трус?! Видели! Так что намёки свои брехливые кончай, не то... – выдрав, наконец, рукав из Вешкиных пальцев, Михаил взялся за кобуру.

– Это не волк, – неожиданно подал голос один из прилипших к кустам бойцов.

Михаил резко обернулся; Ниношвили тоже зашарил хмурым взглядом по солдатским лицам (кто, мол, тут выискался такой знаток?); и сами солдаты заозирались, по-гусиному вытягивая шеи... А “знаток”, мгновенье-другое поколебавшись, всё-таки вышагнул на поляну, взял “к ноге” трофейную снайперку и довольно лихо пристукнул каблуками:

– Старшина Черных. Разрешите пояснить, товарищ старший политрук?

Товарищ старший политрук скривился и буркнул нечто малоразборчивое.

– Это не волк, – старшина почему-то решил счесть Зурабово междометие утвердительным ответом. – Это просто большая собака, я головой ответить могу.

И.о. комполка насмешливо поцокал языком:

– Скажи, пожалуйста – даже голову не пожалел! И откуда же такая уверенность?

– А из следов. Я, товарищ старший политрук, сам деревенский, с Амура – в следах толк понимаю.

– Да ты ж не охотник, – встрял в разговор кто-то из бойцов, – ты ж в своём зверосовхозе на полуторке шоферил!

– В наших краях все охотники, – невозмутимо сказал Черных.

– Вот и сошлось... – Михаил обернулся к старшему политруку. – Помнишь... те утренний разговор? Вот почему гансы отдали нам часового – его страховала обученная собака. Конечно, риск... Но именно риск – не жертва!

Ниношвили молчал. Вместо него, выдержав тактичную паузу, снова заговорил старшина:
– Так точно: может, и обученная, но всего-навсего собака. Этому, – брезгливый кивок в сторону Голубева, – уголья вместо глаз и всё такое попросту примерещилось с перепугу. Однако же...

Черных как-то странно замялся, будто бы собираясь с духом.

– Вы, товарищи командиры, верно, еще не знаете, – продолжил он, наконец, – что с нашими лошадьми... Я такого и сам никогда не видал, и не слыхивал отродясь. Можете меня по законам военного времени, как паникера, но с конями уж точно не без нечистой силы!..

* * *

Кони.

Точнее – конь, три кобылы и мерин.

Вся наличная тяговая сила шестьдесят третьего отдельного.

Туши выглядели так, как, в общем-то, и должны выглядеть туши совсем недавно забитой скотины. Вот только головы... Сквозь лохмотья догнивающей плоти уже проглядывали черепные кости.

Что-то вроде бы торкнулось в Михайловом нагрудном кармане, где лежали дарёная Вешкой подвеска и (отдельно, в вате, в спичечном коробке да еще и в специальном кожаном мешочке) неогранённый рубин – фамильная реликвия экс-беспризорника Мечникова. Торкнулось отчаянно, зло, обречённо, как, говорят, в самый последний раз торкается надорванное изветшалое сердце. И такой же злой обреченностью хлестнуло Михаила внезапное понимание: было уже это, было, было, было!

Когда-то.

Давным-давно.

Настолько давно, что при попытке осознать подобную давность разум проваливается в ледяную беспросветную жуть. В НАСТОЯЩУЮ жуть, по сравнению с которой даже невероятная гибель бедолашной упряжной скотины – тьфу!

Не день был тогда, а ночь; вокруг не мачтовый бор шумел, а хмуро лопотал тяжелой листвою чёрный дубняк; и хриплого дыхания в затылок не было, потому что не было тогда за спиной у Михаила перепуганных, сбившихся в тесную кучу бойцов... Никого тогда не было за спиной, а рядом вместо грызущего усы Зураба маячила белоснежная старческая фигура...

А вот что тогда БЫЛО, так это еще тёплые конские туши со сгнившими до кости головами, потусторонняя (именно ПО-ТУ-СТОРОННЯЯ) несусветность происходящего, боязнь дышать, чтоб лишний раз не впустить в себя вязкий смрад нагло оскалившейся мертвечины... Как теперь.

Внезапная память о беспросветно далёкой жизни сгинула почти мгновенно. Но ледяная обречённость осталась. Осталось безнадежное понимание: на этот раз паники не избежать.

“– Может, и так, – сказал Долговязый Джон. – Но меня смущает одно. Мы все явственно слышали эхо. А скажите, видал ли кто, чтоб у привидения была тень? Если нет тени, значит, не может быть эха.

Такие доводы показались мне слабыми, и тем не менее...”

Пока лейтенант Мечников тратил драгоценное время на воспоминание читанных в детстве книжек да на завистливые восторги по поводу командирской находчивости капитана Джона Сильвера, старший политрук Ниношвили командирскую находчивость проявлял. Выцедив замысловатую смесь грузинской брани с великодержавным матом, он горестно всплеснул руками и произнёс трагическим полупшепотом:

– Ну конечно – дромадерус мортус вульгарис!

К чести присутствующих красноармейцев, большинство из них догадалось, что сказанное – не очередная кавказская нецензурщина, а учёное именованье какой-то скотской болезни. К чести Михаила, он правильно понял стремительный да свирепый взгляд командира полка и прикусил язык, так и не успев блеснуть своими скудными познаниями в бессмертном языке потомков Ромула. И, к счастью для командира полка, прибежавший к месту происшествия старичок-фельдшер оказался истинным мудрецом.

– Ваша правда, товарищ командир, – сказал старичок. – Только не “дромадерус”, а “кронотеос”.

Договорив, фельдшер не то пуговицу на груди потеребил, не то украдкой мелко перекрестился, а потом промямлил что-то про оставшихся без надзора раненных и торопливо ушел. Но это уже не имело никакого значения. У привидения появилось эхо. Просто замечательное эхо: иностранное, непонятное – значит, очень и очень умное.

– Ну, так... – Ниношвили поправил фуражку, деловито огляделся. – Балабанов, выбери себе пятерых помощников, и по-скорому закидайте всё это. Даю вам... Грунт здесь лёгкий, за час управитесь. Понял, да?

Балабанов дисциплинированно принялся выбирать пятерых. Кто-то из выбранных опасливо поинтересовался:

– А этим... др... кр... хренавтобусом этим только лошади болеют?

– Только лошади, – рассеянно кивнул Мечников. – Ну, и ещё ослы. Так что шёл бы ты от греха...

Но Зураб поспешил успокоить боязливого вопрошалу:

– Ничего, шен генацвале, можешь остаться. Такая болезнь в мозгу начинается. Ты не бойся, слушай: к твоей медной болванке не прицепится.

Ну прямо-таки броневой нервы у старшего политрука – усмешка его получилась почти совсем как настоящая...

Уже зашуршал сухой песок под лопатами “похоронной команды”, уже явно собрался уходить командир полка, как вдруг из кучки сгрудившихся неподалёку праздных наблюдателей донеслось: “Как же мы теперь раненых-то повезём? Не на чем же...”

Ниношвили стремительно обернулся на голос:

– Вам тут что – театр?! Черных, а ну гони всех отсюда! И больше никого близко не подпускать! И не болтать по лагерю лишнего! Понятно говорю, нет? Так, лейтенант Мечников, за мной!

“За мной” – это, как выяснилось, в штаб. По дороге Ниношвили молчал; добравшись до штабной ямы тоже сперва в основном помалкивал (только ругнулся, не найдя оставленной на сейфе матерчатой звёздочки: “Снова пропала, так её распротак!”).

Через пару минут, растраченных на бесцельное хождение взад-вперёд, и.о. комполка уселся на свой любимый бронированный ящик, нетерпеливым кивком указал Мечникову на хворостяное эрзац-сидение и заговорил так же нетерпеливо, отрывисто:

– Случай с лошадьми обсуждать не будем. Понять невозможно, гадать бессмысленно – значит, забыли. Слушай приказ, инженер-сапёр: внимательно осмотреть место, где полк банак-дэба, и через полчаса доложить соображения по обустройству узла обороны. Круговой обороны. Чтоб с полсотни активных бойцов продержались до полусуток против превосходящих сил. Многократно превосходящих. Под артобстрелом, под дабомбило... И чтоб с укрытием для раненых – понял, нет? И с двумя пуль-точками...

– У нас три станкача, – машинально напомнил Михаил, и тут же спохватился, что напоминание получилось дурацким. Спыхватился даже раньше, чем Зураб успел раздраженно повысить голос:

– Я сказал: ДВЕ стационарные пулемётные точки. Две. Выполняйте!

– Товарищ комполка, ваше приказание невыполнимо.

Лейтенант Мечников не на шутку разозлился. Какого чёрта, в конце концов?! Грунт вокруг мягкий, сыпучий – тут даже в полнопрофильном окопе артобстел не пересидишь, а уж про “дабомбило” и говорить нечего. Бревенчатые накаты? Хрёна: долго, хлопотно, шумно...

– Нет, это совершенно нереально. Это как вам, товарищ комполка, поменять акцент с грузинского на японский.

Михаиловы доводы Зураб слушал в пол-уха. Он – Зураб – развернул на колене тетрадку, служившую полевой командирской книжкой, штабным оперативным журналом и бог знает чем ещё. Развернул, бегло перечитал свои недавние записи...

– Поменять акцент, говоришь? – Выдрав из тетрадки два густо исписанных листка, Ниношвили принялся рвать их в мелкие клочки. – Верно говоришь. Поменять акцент...

Он рассеянно скосился на Мечникова и вдруг улыбнулся:

– Слушай, дорогой, ты приказ слышал? Зачем до сих пор сидишь, разговариваешь? Здесь тебе духан, да? Или ты уже не командир, а кинто? Выполняй, что приказано – время ждать не умеет!

* * *

Там было сумрачно. И душно. И тихо – только время от времени где-то над головой изредка давилась настороженными короткими трелями невидимая пичуга.

Над головой. Высоко-высоко, где неохватные древесные стволы раскинулись дебрью узловатых ветвей; где вместо неба каменела в мертвой бездвижности мешанина лиственной зелени и золотых солнечных бликов.

А под ногами – упругая исчерна-бурая труха (останки бесчисленных листопадов) да редкие стебли неказистых лесных соцветий... почти такие же редкие, как столетние дубы, слитной непробиваемой тенью крон домучивающие вокруг себя всё живое.

Редколесье... Нет, никак не прилепливалось такое название к этой стае деревьев-чудовищ – серых, морщинистых, косматящихся матёрым мхом, приподнявшихся на растопыренных щупальцах корней...

А по сторонам (хоть вправо, хоть влево не ближе сотни шагов) вскидывались одинаково пологие откосы... нет, склоны. Склоны лощины. Деревья там росли вроде бы гуще и были заметно хлипче чудовищных дубов на лощинном дне; а еще склоны зеленели травой, обильно курчавились подлеском... Только всё равно Михаил бы и под пытками не согласился назвать лесом то, что норовило превратить эти склоны в стены. Дебрь. Первобытная чаща. Чаша-матушка... Господи, и заберется же в голову такая чушь! ЭТО может быть матушкой только... только для... да нет, даже для таких ЭТО может быть лишь могилой.

Михаил шел вдоль лощины, шел быстро и легко, словно бы торной и прекрасно знакомой дорогой. Такая лёгкость объяснялась проще простого: дно лощины было ровным и вело под уклон. И еще тем она объяснялась, лёгкость эта, что Михаилу отчего-то были удобны, привычны нелепые сапоги (без каблучков и на мягкой подошве), дурацкая кожаная одежда (а ведь по идее от одного её запаха лейтенанту Мечникову полагалось бы ощутить, мягко говоря, дискомфорт). Бесцеремонная тяжесть перекашивала пояс и на каждом шагу назойливо, панибратски хлопала по левому бедру; какая-то вещь, заткнутая за правое голенище, давила ногу и на каждом же шаге с почти ощутимым стуком задевала лодыжку... Всё это раздражало, но в то же время казалось бесспорно привычным, уместным, нужным... Бред какой-то, бред, бред!!! Но еще бредовой казался страх. Упорное нежелание наклонить голову (впрочем, хватило бы лишь чуть-чуть опустить глаза) и рассмотреть, наконец, то самое – перекашивающее, хлопающее и задевающее. Страх увидеть, а увидев – понять. Страх превратить смутные догадки в уверенность.

Страх удостовериться в том, что на поясе действительно меч, за голенищем – кинжал (или как там это у них звалось?)... Страх убедиться, что ощущения полностью соответствуют реальности, и что реальность эта – древность одежды и снаряжения, первобытные дебри вокруг – не сон и не обморочный бред, а именно доподлинная реальность. Взвзвешавшаяся вдруг, ниоткуда, бредово... но доподлинная.

Главное же – тот, в чьём теле дьявол ведаёт как угораздило очутиться лейтенанта РККА Михаила Мечникова... Он, неведомый, шел уверенно, споро, зная куда; и близкой цели своего пути он не боялся. Почти не боялся. Вернее, уговорил себя, будто уж ему-то бояться там нечего. Почти уговорил, будто почти нечего.

Лес обрубился по-волшебному внезапно, разом – и чаща на склонах, и великанское чёртё-что на лощинном дне. Лиственный прах под ногами сменился выгоревшим луговым разнотравьем; лощина сузилась, превращаясь в глубокий овраг, а впереди...

Стена – не стена, изгородь – не изгородь... Ряд валунов, словно бы по туго распыленной верёвке вытянувшийся от склона до склона. Самый крупный из заляпанных серым лишайником камней едва ли по пояс рослому человеку, и уложены они не вплотную друг к другу – хоть перелезай, хоть протискивайся... Но почему-то ни перелезть, ни протиснуться сквозь эту чисто символическую ограду было совершенно невыносимо. Единственно возможным способом миновать её показались ворота – такие же символические, лишь обозначенные. Два окаменелых от древности деревянных столба с поперечным двускатным навесом. Судя по неодинаковой замшелости тесовин, навес частенько подправляли, а уж глядящие с его гребня, как с избяного конька, две резные конские головы на капризно, по-лебяжьей изогнутых шеях белели чистотой свежескоблёного дерева.

Наверное, Михаил просто слишком увлёкся рассматриванием диковинного воротного проёма без ворот. Наверное, это просто совпало так: лишь пройдя меж деревянных столбов, он отдал себе отчет, что в прежнюю тишину что-то вплелось – не то журчанье, не то ворчливое бормотание...

За выложенной валунами преградой-межой лощина изламывалась крутым поворотом и, будто приток в главное русло, вливалась в...

Похоже, когда-то здесь и было русло широкой полноводной реки.

Когда-то.

Давным-предавным давно.

Теперь же от когдатешней полноводности остался лишь извилистый ручей, глубоко вгрызшийся в каменистую глину бывшего речного дна.

Едва успевший миновать поворот, Михаил еще не мог разглядеть всего этого.

Он и не разглядел.

Он знал.

Увиделся же ему (и то невнятно) дальний обрыв – этакая серая, исполосованная морщинами промоина стена, как бы закупоривающая овраг там, впереди. А на её фоне...

Скала. Островерхая, слепяще-белая глыба, показавшаяся огромной, неправильной и возмутительно неуместной здесь, в этой заповедной вотчине блеклого мелкоцветья, бурого мха и серых валунов, до галькоподобности обсосанных прадавными льдами.

Германская противопехотная мина S-34 может оснащаться взрывателем как нажимного, так и натяжного действия. При строительстве долговременных огневых точек нельзя допускать, чтобы проем входа располагался напротив амбразуры. В качестве заграждений на танкоопасных участках могут использоваться ежи, надолбы, засеки, завалы, рвы, эскарпы и контрэскарпы. Лейтенант Рабоче-Крестьянской Красной Армии продолжал знать всё, что знал в своём теле и в своё время.

А тот, в чьём теле лейтенант обретался теперь, продолжал знать слуханую В СВОЁ ВРЕМЯ многожды и от многих полусказку про остров на хмуром Скандийском море, про

Белую Гору – самое первое капище Светловида-Световита-Рода... самое первое и по давности своей, и по чтимости... И ещё он, тот, в кого вшвырнула Михаила Мечникова колдовская невообразимая сила, продолжал знать, что здешний подистёршийся на жвачке столетий белокаменный зуб был некогда уменьшенным, но точным подобием первосвященной горы Арконы. А тесовый навес, широкой подковой охвативший Светловидову алтарную скалу... Его вовсе не столбы поддерживают, а высокие резные статуи Рожаниц. Двенадцать статуй. Дюжина. А с противоположной стороны алтаря стоят еще две – только те, невидимые от устья лощины, не деревянные.

Два белых каменных изваяния.

Фигура человека... точнее, нечеловека... нет, еще точнее – надчеловека, глядящего на четыре страны света четырьмя бородатыми ликами. А то, что поставлено оплечь с ним, первому беглому взгляду кажется такой жутью, что мало кто отваживается на взгляд второй, небеглый. Потому-то мало кто знает: ЭТО лишь притворилось Ящером-Змеищем, божеством, владычествующим над водами текучими, стоячими, и всеми иными. По правде ЭТО – Белый Конь, излюбленное воплощение пресветлого Рода. Если всмотреться пристальней, видно: не змиева шкура на нем, а плащ-попона из змиевой шкуры; и ящEROва морда вовсе не морда, а напыленная личина. Искусно напыленная личина, под которой можно (правда, не без труда) разглядеть конские ноздри – тонкие, с большим знанием дела сработанные неведомым резчиком... да только изяществом их мешает любоваться запредельная для живой твари гневливость (и как только удалось мастеру воплотить такое несколькими бороздками на мертвом холодном камне?!).

Так-то. Лейтенант РККА сказал бы: “Маскировка”. Сказал бы, дозволь впустивший его в себя пращур потревожить древность не ей надлежащим словом.

А сам пращур молчал. Ему – сыну могучего кудесника и другу почитаемого волхва – превосходно ведомы были причины этакой вот изворотливости и всяческих недомолвок, для отражения сути которых в прадавнем языке даже слова единого не имелось.

Обустроители да хранильники священных божеских мест не живут, а ходят по отточенному клинку... да еще и над пропастью. Доподлинные образы и доподлинные имена не только самих богов, а даже их доступных людскому пониманию воплощений – страшное знание. Оплошать, помянуть по-глупому, суетно – означает призвать. Вернее, накликасть. Ведь если даже иных зверей люди страшатся назвать правильным именем, выдумывая всякие индоевропейские ухищрения – вроде “медведь” вместо “бер”... Ну вот, сорвалось-таки оплошное, накликающее! Одна теперь надежда, что внутри ограды Светловидова места медвежий гнев не опасен.

Да уж, не без причины столь удручающе многолики и многоименны древние божества. “Как шпионы” – это лейтенантова мысль. И еще одна мысль барахтающегося в несвоем времени лейтенанта: знания о сокровенной истинной сути дохристианских богов настолько сокровенны, что наверняка не доживут до его лейтенантской родной эпохи. Может быть, они даже до этой вот древности не дожили?

...А то, что померещилось лейтенанту Мечникову еще одним белокаменным изваянием, стоящим перед алтарём спиной к лощинному устью... Именно “померещилось” и именно “лейтенанту” – принявший лейтенантскую душу в соседки к своей душе пращур знал, что это не статуя.

Это был человек.

Высокий старец. В белоснежном одеянии, белоснежно седой... Каменно неподвижный... Именно его негромкий журчливый голос мешал разлётшейся над миром тишине стать поистине тишиною, всевластной и мёртвой. Или это ручей, невидимый в шрамоподобном русле, норовил придать своему журчанью внятность человеческой речи? Всё может быть – дьявол их

знает, эти времена и места. Да уж, дьявол, наверное, знает... если уже успел родиться и стать собой.

Омывая закатом кровавняющий лик,
Хорс к земле припадает, как избитый старик,
А из омутов-речищ, как из киснувших ран,
Бледным гноем сочится затхлый знобкий туман –
Тень весёлого света и дневного тепла,
В полыханье заката догоревших дотла.
Выстилаются тени – всё длинней, всё мутней –
Мимолётная немочь честной сути вещей,
Уплотнение правды (вместо “будь” – “покажись”),
Затяжным умираньем подменившее жизнь.
А от даль-виднокрая запредельной черты
Наползает, вспухая, вал ночной черноты –
Тень кровавых пожаров и пожаров в крови,
Тень того, что нагрянет – хоть гони, хоть зови;
Тень того, что дождётся скрипа дрогнувших врат,
Миг ли, век ли, века ли будет чахнуть закат.

Белоснежный старец вдруг обернулся, но лейтенант Мечников не успел увидеть его лицо. Увиделось лейтенанту лишь бешеное чёрное пламя взгляда, от которого прашур, до этого мига удивительно спокойно терпевший в своём теле несвою душу, внезапно ужаснулся ей, и...

Он – прашур, или как его там по-правильному? – был из тех, чей испуг для пугателя смертелен. Но Михаилу повезло: лейтенанта Рабоче-Крестьянской Красной всего лишь вышвырнули прочь. Так разъярённый хозяин спускает с крыльца нахрапистого наглого визитёра.

4

Во всем виноват удар по голове – Вешка наверняка ошиблась, что сотрясения мозга нет. Стало быть, можно вытрясти из мозгов (каламбур!) всякие бредни и не бояться...

Нет, не бояться нельзя.

Потому, что последствия удара – сотрясение и всё такое прочее – НЕ ОЩУЩАЮТСЯ. Лейтенант Мечников бодр, вполне работоспособен... и очень боится дать себе отчёт в том, что ненормальные эти бодрость да работоспособность подарены ему лежащими в нагрудном кармане побрякушками... колдовскими побрякушками... своей и Вешкиной... Нет-нет, конечно же причина твоего ненормально хорошего самочувствия кроется именно в Вешке, в негаданной Вешкиной взаимности, в твоих переживаниях за Вешку...

А видение было бредом. Усвоил, лейтенант?! Бредом! Обычайшим, вздорным, глупым. Доказательства? Вообще-то сапёр – не следователь, чтоб выискивать какие-то там доказательства, но уж ладно... Учти: это только снисходя к нашей с тобою тяжкой контузии... повторяю: тяж-кой кон-ту-зи-и. Учёл? Так вот: современный атеистически воспитанный человек с полторными высшими образованиями (это ты) охренел от страха, когда его душа ввалилась в тело допотопного безграмотного вояки; а допотопный безграмотный вояка, обнаружив в себе помимо собственной души чью-то чужую (в отличие от тебя, он даже не понял, чью), воспринял это с таким философским спокойствием, что... что... Действительно, что тут странного? Это нам с тобой, лейтенант, подавай объяснения на платформе материализма, а прашуру (тем более сыну такого отца и другу такого друга) всё ясней ясного: обычнейшее... как там у них говорили – ведовство? Или волхование? Господи, да какая в звезду разница?!

Вот те и доказательства, мать-перемать...

Нет, это всё из-за удара по голове. Вешка наверняка ошиблась, что сотрясения... Впрочем, это мы с тобою уже друг другу растолковали. Повторяемся, стало быть. И заговариваемся. И сами к себе во множественном числе... Есть, кажется, такое сумасшествие: раздвоение личности...

Вот именно.

Раздвоение.

Даже растроение, потому что и собой ты был, и древним этим рубакой-головорезом, и в то же время дисциплинированно (причём с неожиданным успехом) выполнил приказ товарища старшего политука. Нашел поблизости от “расположения полка” место, пригодное для воплощения в жизнь Зурабовых директив; оценил грунт; почти закончил предварительную разметку... До чего же здорово мы с вами, товарищ лейтенант Мечников, ухитряемся всё успевать – и дело делать, и с ума пятиться...

Так, хватит. Как это давеча говорил З. Ниношвили? Понять невозможно, гадать бессмысленно, значит – забыли. Вот и забудь. И вообще... Хватит ковыряться в земле и в собственном идиотизме. Ну-ка, вы, расплотившиеся личности лейтенанта Мечникова, слушай мою команду! В одну шеренгу становись! Р-р-р-няйсь! Сми-р-р-на! Нале-ву! На доклад к и.о. командира шаго-о-ом... арш! Запевай!

А если к нам ползет враг матёрый
Он будет бит повсюду и кругом!
Мы, если надо, прошибём хоть горы
Своим могучим мускулистым лбом!

* * *

И.о. комполка был занят: он вправлял мозги своему ординарцу.

Сунувшемуся было с докладом Мечникову Зураб мигом заткнул рот рассеянным: “Всё сделал, да? Хорошо...” Засим старший политрук с великолепной небрежностью выдрал из своей драгоценной тетрадки чистый листок и не глядя сунул его Михаилу:

– Пока я занят, начерти кроки. Карандаш дать, нет?

– Есть у меня карандаш, – проворчал Мечников, умащивая на сейфе жалованную с командирского плеча бумажку.

Вообще-то лейтенанту казалось, что при нынешней ситуации Ниношвили мог бы уделять всему, связанному с узлом обороны, малость больше внимания. Может быть, сбежавший ганс именно сейчас в каком-нибудь гансовском штабе тоже принялся чертить кроки; может быть, уже пошла набирать обороты немецкая операция по окружению и ликвидации столь упорно да крепко досаждающего гитлеровцам шестьдесят третьего отдельного... Нужно как можно скорее уносить ноги с засвеченного места, но уносить ноги немисливо, потому что немисливо бросить раненых... А и.о. командира упомянутого шестьдесят третьего отдельного настолько увлечён процессом воспитания своего персонального холуя, что...

Нет, это было несправедливо.

Оказывается, Зураб своего ординарца не воспитывал и не распекал. Имело место то, что называется “постановка задачи” (просто при Зурабовой кавказской экспансивности и неуёмной жестикуляции даже объяснение в любви могло бы со стороны показаться свирепой выволочкой).

– ...говорит, что рядом сквер и много развалин – есть где затаиться. С наступлением темноты скрытно подтянитесь как можно ближе и ждите, да. Стрельбу, которая затеется здесь, вы, наверное, не услышите; и мой сигнал (три ракеты – красная, зелёная, белая) тоже можете не заметить. Но по этому сигналу две наши группы ударят по зенитной батарее и по понтонной переправе – вот это, понимаешь, вам будет слышно наверняка. Дальше действуй по обстановке. Я бы на месте немцев, затеяв крупную операцию, оставил при штабе оперативный резерв. Когда начнётся непредвиденная заваруха одновременно и около МТС-приманки, и на понтонке, штабисты хоть часть резерва бросят в угрожаемые пункты. В общем, смотри по обстановке, да. Только слишком не тяни. Как-нибудь засуетиться, занервничать они должны обязательно – тогда и атакуй. Задача: бить всё живое и хватать всё бумажное. И не канителься: быстро сделай и быстро уйди. Сборный пункт – база местных несостоявшихся партизан, Сергей знает где это. Сергея береги, как... как это по-вашему... синицу... то-есть зеницу глаза, да. На сборном пункте ждать подхода остальных групп. Ждать, но не дольше следующего вечера. Если не дождётесь – пробивайтесь к линии фронта самостоятельно. Вопросы?

Сержант Балабанов нервно облизнулся, секунду-другую подумал и спросил, наконец:

– Пленных брать?

– Не больше одного и званием не ниже полковника, – стремительно отвечивал Ниношвили. – Еще вопросы?

– Нету.

– Тогда всё. Учти: тут у них спецотряд, обученный какой-то чертовщине – будь осторожен. И еще раз напоминаю: береги проводника. Ну, всё, всё! Ступай. И чтоб через четверть часа духу, понимаешь, вашего не было в расположении!

Балабанов козырнул, сделал “налево кругом!” и по своему обыкновению мгновенно пропал из глаз.

А Зураб повернулся к сопящему над рисованием лейтенанту Мечникову.

– Понял, нет? – устало спросил Зураб.

– Да... в общих чертах.

– А подробнее понимать тебе и не нужно, – Ниношвили, ссутулясь, принялся рассматривать песок под ногами. – Меньше знаешь – крепче спишь.

Помолчали. Но когда лейтенант Мечников оторвал карандаш от бумаги и совсем уже собрался докладывать результаты своих фортификационных изысканий, Зураб, по-прежнему не поднимая глаз, вдруг спросил:

– И как?

Михаил умудрился сообразить, что спрошено вовсе не о пресловутых результатах.

– По-моему, напрасно Балабанова старшим, – пожал он плечами. – Не лучший выбор.

Ниношвили тоже пожал плечами:

– Как раз лучший. Балабанов ответственный, исполнительный, и – представь себе! – честостлюбивый, как чёрт. По-хорошему честостлюбивый, да. А что воображение на нуле, так при теперешних делах это не минус, а плюс.

Михаил поймал себя на том, что грызёт кончик карандаша – стыдная детская привычка, от которой так и не смогли отучить ни гораздые на залезание в душу детдомовские воспитатели, ни шкрабы, ни даже училищные преподаватели с петлицами, ломящимися от “шпал”. Досадливо сплюнув размочаленными мокрыми щепками, лейтенант вдруг ляпнул:

– Если “крепче спишь”, то лучше бы ты меня вообще в свои задумки не посвящал. А то попаду в плен да разболтаю – о том, например, что удары отвлекающие...

Про себя же Мечников не вполне к месту подумал: вот, стало быть, что Зураб давеча подразумевал под “изменить акцент”? Наверняка он сперва намечал основной удар не по штабу, а по переправе...

Старший политрук ответил не сразу. То есть нечто вроде “к командиру полка на “ты” только генералы обращаются” буркнуто было незамедлительно, но вот затем последовала изрядная пауза. Ниношвили прошелся по штабной колдобине (непривычно как-то, расхлябанно – руки в карманах, плечи торчком); уселся на угол железного ящика-стола; понурился...

И вдруг Михаилу опять же совершенно ни к селу, ни к городу припомнилось, как с год назад он, Михаил, сделал другу Зурабу какое-то пустяковое замечание (кажется, что говорить “напополам” нельзя), а друг Зураб почему-то завёлся и начал сыпать обратными примерами – в основном из Правдинских передовиц. “Ну да, много ещё безграмотности у нас, – сказал Мечников. – Будто бы среди вас, грузин, безграмотных нет!” А старший... нет, тогда еще просто политрук Ниношвили вдруг очень не по-хорошему прищурился и спросил: “Ты это на кого намекаешь?!” Михаил так испугался, что бездумно выпалил: “На Чхеидзе.” Вот, поди ж ты – много чего в жизни приходилось бояться и до, и после, но тот мгновенный беспомощный испуг под оценивающим прищуром хорошего друга... Да уж, то был всем испугам испуг...

– Ты не попадёшь в плен.

Михаил, уже думать запямятовавший о своей последней реплике и о возможности Зурабова ответа на неё, вздрогнул и едва не выронил карандашный огрызок.

– Ты им не сдашься, – задумчиво повторил Ниношвили. – А если и захватят, будешь молчать, как бы они тебя не... Это же страшно, слушай! Ведь давно чувствую: ты – контра... Ва-ва, молчи, пожалуйста! Ты сам себе в этом не можешь отдать рапорт... патаки... нет, отчёт то есть... Но контра ты настоящая, а положиться на тебя я сейчас действительно могу без оглядки. А секретарь Чернохолмского горкома комсомола Гуреев – ворюга и шкурник. Страшно мне, понимаешь?! – Зураб несколько раз подряд с силой рванул себя за усы. – Вот как это вышло, что ты – контра?! Как?! Воспитывал тебя советский наробраз, правильно воспитывал... семья не мешала... Потом комсомол стал воспитывать, тоже правильно... Армия... Партполитработники... Ну, попались тебе в жизни те трое – лишенка-библиотекарша, буржуй-художник да недобитый “ихнее благородие”, сумевший пролезть в красные командиры... Как получилось,

что они втроём перевесили всю советскую воспитательную систему? Скажи, как? Молчишь... А вот Голубеву такие не попадались – и что из него выросло? Страшно...

Михаил чувствовал, что его челюсть отвисла до самой поясной пряжки. Откуда Ниношвили знает про... Ну, про Леонид Леонидыча ты сам ему когда-то... но ведь чуть-чуть, ничтожную безопасную малость... А про Очковую Клячу вообще ни единого слова... Ладно, допустим, он узнал твою подноготную в особом отделе. А особысты откуда могли знать такие подробности? Верней, не “откуда”, а “зачем”... Зачем? Вот уж, ей богу, идиотский вопрос! Жутко такое говорить, но кабы не началась война да кабы шестьдесят третий отдельный не угодил в окружение, то некий инженер с лейтенантскими знаками различия сейчас бы перековылся где-нибудь за Полярным Кругом. Причём это еще в лучшем случае.

Старший политрук, наконец, склонился на своего собеседника и сказал, протягивая руку к Мечниковскому рисованию:

– Ну, хватит лирики. Давай показывай, какая там у тебя хурда-мурда получается...

Михаил начал показывать.

И рассказывать.

Пояснения к на скорую руку сделанному чертежу были наверняка маловразумительными, потому что мысли поясняющего бродили непростительно далеко от будущего узла обороны. Ну и плевать. Всё равно этот трёп – напрасная трата времени: воплощать Мечниковские фортификационные идеи в жизнь предстоит самому же Мечникову. И слава богу. Слава богу, что лейтенант Мечников не успел начать выспрашивать у старшего политрука, в какую из ударных групп тот собирается его определить. Конечно, никто лучше Михаила не мог бы устроить максимум шума с максимумом урона для врага хоть на понтонке, хоть на зенитной батарее; а при атаке на Чернохолмский штаб очень бы пригодилось Михайлово знание немецкого языка...

Но те, кто уйдёт (или уже ушел?) на понтонку, к батарее и к штабу, имеют ШАНС. А Ниношвили с остальными будет здесь стоять насмерть. Чтоб оттянуть на себя внимание немцев. Чтоб оттянуть на себя побольше германских сил. Чтоб оттянуть время – до заката, до темноты, до глубокой ночи... Так где ты сейчас нужнее, ты, настоящая контра Мечников?

– Слушай, – Михаил не потруился даже закончить очередную вялотекущую фразу о различных вариантах оборудования пулемётных гнёзд. – Слушай, Зураб... Не как командира – как бывшего друга прошу: отправь отсюда Вешку. Под любым предлогом, куда угодно, лишь бы подальше. Отправишь? И ту местную девочку, – вот уж это не лейтенант Мечников, это его лейтенантский язык внезапно и самовольно, – Марию Сергеевну...

– И тебя, конечно, тоже? Для охраны, да? – ухмылочка старшего политрука была вполне подстать давнему его памяtnому прищуру.

Мечников неторопливо поднялся (до этих пор он сидел на корточках, опершись локтями о броню несгораемого ящика); выпрямился во весь рост; сверху вниз глянул в запрокинутое горбоносое лицо:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.